

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен

ПАРИЖ -ИТАЛИЯ-ПАРИЖ (1847-1852)

Начиная печатать еще часть "Былого и думы", я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно - я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение - тогдашняя истина пропадет. "Былое и думы" не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах - все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.

Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои "Письма из Франции и Италии"; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился. Многое, не взошедшее в "Полярную звезду", вошло в это издание - но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...
Женева, 29 июля 1866. (246)

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

ГЛАВА XXXIV. Путь

Потерянный пасс. - Кенигсберг. - Собственноручный нос. - Приехали! - И уезжаем.

...В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал вслух читать все, что не нужно: "Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... alien und jeden, deren daran gelegen etc., etc... Unterzeichner Peroffski, Minister der Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift fur Tapferkeit"1...

Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Террачино и Неаполем неаполитанский карабинер четыре раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя наши визы. Я показал ему неаполитанскую визу; ему этого и полкарлина было мало, он понес пассы в канцелярию и воротился минут через двадцать с требованием, чтоб я и мой товарищ шли к бригадиру. Бригадир, старый и пьяный унтер-офицер, довольно грубо спросил:

- Как ваша фамилия, откуда?

- Да это все тут написано.

- Нельзя прочесть.

Мы догадались, что грамота не была сильною стороною бригадира. (247)

- По какому закону, - сказал мой товарищ, - обязаны мы вам читать наши пассы; мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать, мало ли что я сам продиктую.

- Accidenti! - пробормотал старик, - va ben, va ben!2 - и отдал наши виды, не зависывая.

Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора; прочитав три раза в трех пассах все ордена Перовского до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня:

- Вы-то, Euer Hochwohlgeboron3 - кто такое? Я вытаращил глаза, не понимая, что он хочет от меня.

- Fraulein Maria E., Fraulein Maria K., Frau P., - все женщины, тут нет ни одного мужского вида.

Посмотрел я: действительно, тут были только пассы моей матери и двух наших знакомых, ехавших с нами, - у меня мороз пробежал по коже.

- Меня без вида не пропустили бы в Таурогене.
- Bereits so⁴, только дальше-то ехать нельзя.
- Что же мне делать?
- Вероятно, вы забыли в кордегардии, я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погребутся у нас. - Neh! Kerl, lass er mal den Braunen anspannen⁵.

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопотал, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, что я его положил в карман, стало, я его выронил, - где же искать? Его занесло снегом... надобно просить новый, писать в Ригу, может ехать самому; а тут сделают доклад, догадуются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге, образ Кокошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры... опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городских с двумя блестящими (248) пуговицами на спине, которыми они смотрят назад... и прежде всего увижу опять небольшого сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное "4", обмерзлую казацкую лошадь. Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в "Тавроге", как она говорила.

Между тем заложили большую печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели и ботфортах, почтальон классически хлопнул классическим бичом - как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал

- halt! halt! Da ist der vermaledeite Pass⁶, - и он его держал развернутым в руках.

Спазматический смех овладел мною.

- Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?
- Посмотрите, - сказал он, ваш русский сержант положил лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть листа...

А ведь прочитал три раза: "Es ergeheth deshalb an alle hohe Mächte, und an alle und jeder, welchen Standes und welcher Würde sie auch sein mögen..."⁷

... "В Кенигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город: на дворе был теплый зимний день⁸, хозяин гостиницы предложил проехаться в санях, лошади были с бубенчиками и колокольчиками, с страусовыми перьями на голове... и мы были веселы, тяжелая плита была снята с груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения - отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая, я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная вещь, - столько же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этот элемент (249) более ясный и живой, поражает русского при переезде за границу. Петербургское правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того - только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтоб перед ним все дрожало, словом хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей - передняя и казармы".

... Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет; возле меня уселся какой-то закутанный господин; дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня спрашивать о строгости полиции, о паспортах - я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии, он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и, в заключение, сильно напал на познанских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило, я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнения, и потом замолчал.

Между тем рассвело; тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мере недоставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива – но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу; "Majestab"9 приезжал в больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрил.

Le roi de Prusse, en le voyant,

A dit: cest vraiment etonnant10.

По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.

Переезд наш из Кенигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, – это все вздор. (250) Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды – все равно. Теперь благодаря железным дорогам вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны.

Дорога от Кенигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целостость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кенигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся; кондуктор ссылался на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги, тут он объявил нам очень просто, что "нам дадут только пять мест".

– Как пять? вот мой билет.

– Мест больше нет.

Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращая ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:

– Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.

После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл "Herr Major" и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.

Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и (251) мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлин записку.

– Вы почтовый чиновник? – спросил я.

– Нет, – отвечал он, еще больше* в нос, – но это все равно... я... видите... как это здесь называется – служу в центральной полиции.

Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.

Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru последний.

...Берлин, Кельн, Бельгия – все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и доехали, наконец.

...Я отворил старинное, тяжелое окно в Hotel du Rhin; передо мной стояла колонна

...с куклою чугунной,

Под шляпой, с пасмурным челом,

С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и Rue de la Paix.

В Париже – едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове "Москва". Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hotel de Ville, на cafe Foу в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: "a la Bastille!"

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова – вот Rue St.-Honore, Елисейские поля – все эти имена, сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин...

Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.

я был вне себя от радости!

На ней я здесь и останавлиюсь.

Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка (252) по Италии, вспрынувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 февраля, – все это рассказано в моих "Письмах из Франции и Италии". Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих "Записок", – что же вообще письма, как не записки о коротком времени?

ГЛАВА XXXV. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ РЕСПУБЛИКИ

Англичанин в меховой куртке. – Герцог де Ноаль. – Свобода и ее бюст в Марселе. – Аббат Сибур и Всемирная республика в Авиньоне.

... "Завтра мы едем в Париж, я оставлю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана¹¹ сильна – но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе – и совершенно всего не сдует же реакция".

Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на Via del Corso и глядя на "Народную" площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал.

Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее – там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей – а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова "Republique Franchise", – я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу! (253)

Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Лнеимоверной быстротою и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посредине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельеферагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалай и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что "сигары свои он сам привез из Гаваны". Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет правильного сообщения и прямого между Лондоном и Петербургом¹².

- Вы в Рим? - спросил я его, подъезжая к Чивите.

- Не знаю, - отвечал он.

Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:

- Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. - А вы остаетесь здесь?

- Да. Пароход пойдет завтра.

Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех - и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке, с портфелем, зрительной трубкой, маленьким несессерчиком, шествующего перед слугой, навьюченным чемоданом и всяким добром.

- Я в Неаполь, - сказал он, поровнявшись.

- Что же климат, не понравился? (254)

- Скверный.

Я забыл сказать, что в первый проезд он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей; в продолжение ночи он раза три чуть не убил меня: то страхом, то ногами; в каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись:

- Oh - beg pardon - j'ai avais soif.

- Pas de mal¹³.

С ним, стало, в этот путь мы встретились как старые знакомые; он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, - и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике..

Француз принимал иное участие в этих делах... с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу и необходимой оседлости.

- Вы не можете себе представить, - сказал я ему шутя, - какое оригинальное наслаждение вы доставляете мне вашими недомолвками. Я лет пятнадцать говорил так о монархии, как вы говорите о республике. Роли переменялись: я, защищая республику, - консерватор, а вы, защищая легитимистскую монархию, *perturbateur de l'ordre public*¹⁴.

Старик и англичанин расхохотались. К нам подошел еще один тощий, высокий

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru господин, которого нос обессмертил "Шаривари" и Филиппом, - граф д'Аргу ("Шаривари" говорил, что его дочь потому не выходит замуж, чтоб не подписываться: "такая-то, неё (255) Argout"15). Он вступил в разговор, с уважением обращался со стариком, но на меня смотрел с некоторым удивлением, близким к отвращению; я заметил это и стал говорить на четыре градуса краснее.

- Это презамечательная вещь, - сказал мне седой старик: - Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы, русские, или совершеннейшие рабы царские, или - *passez moi le mot*16 - анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете свободными17.

В этом роде продолжался наш политический разговор.

Когда мы подъезжали к Марселю и все стали суетиться о пожитках, я подошел к старику и, подавая ему свою карточку, сказал, что мне приятно думать, что спор наш под морскую качку не оставил неприятных следов. Старик очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет республиканцев, которых я, наконец, увижу поближе, и подал мне свою карточку. Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V.

Случай этот, весьма неважный, я рассказал для пользы и поучения наших герцогов первых трех классов. Будь на месте Ноаля какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто принял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за капитаном корабля.

Один русский министр в 1850 г.18 с своей семьей сидел на пароходе в карете, чтоб не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете... да еще на море, да еще имея двойной рост.

Надменность наших сановников происходит вовсе не из аристократизма, барство выводится; это чувство ливрейных, пудренных слуг в больших домах, чрезвычайно подлых в одну сторону, чрезвычайно дерзких - в другую. Аристократ - лицо, а наши - верные слуги (256) престола - вовсе не имеют личности; они похожи на павловские медали с надписью: "не нам, не нам, а имени твоему". К этому ведет целое воспитание: солдат думает, что его только потому нельзя бить палками, что у него аннинский крест, станционный смотритель ставит между ладонью путешественника и своей щекой офицерское звание, обиженный чиновник указывает на Станислава или Владимира - "не собой, не собой... а чином своим!"

Выходя из парохода в Марсели, я встретил большую процессию Национальной гвардии, которая несла в Hotel de Ville бюст свободы, то есть женщину с огромными кудрями в фригийской шапке. С криком: "Vive la République!"19 шли тысячи вооруженных граждан, и в том числе работники в блузах, взошедшие в состав Национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, что и я пошел за ними. Когда процессия подошла к Hotel de Ville, генерал, мэр и комиссар Временного правительства Демосфен Оливье вышли в сени. Демосфен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг; толпа, разумеется, двигалась вперед, Национальная гвардия ее осаживала назад; толпа не слушалась; это оскорбило вооруженных блузников, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди; граждане "единой и нераздельной республики" попятились...

Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и, в особенности, римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и телесной неприкосновенности развито в каждом человеке, не только в факино20, в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В Романье на эту дерзость отвечали бы двадцатью "колтелатами"21. Французы попятиться может, у них были мозоли?

Случай этот неприятно подействовал на меня; к тому же, пришедши в hotel, я прочел в газетах руанскую историю. Что же это значит, неужели герцог Ноаль прав? (257)

Но когда человек хочет верить, его веру трудно искоренить, и, не доезжая до Авиньона, я забыл марсельские приклады и руанские штыки.

В дилижансе с нами сел дородный, осанистый аббат, средних лет и приятной

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru наружности. Сначала он ради приличия принял за молитвенник, но вскоре, чтоб не дремать, он положил его в карман и начал мило и умно разговаривать, с классической правильностью языка Портройяля и Сорбонны, с цитатами и целомудренными остротами.

Действительно, одни французы умеют разговаривать. Немцы признаются в любви, поверяют тайны, поучают или ругаются. В Англии оттого и любят рауты, что тут не до разговора... толпа, нет места, все толкуются и толкаются, никто никого не знает; если же соберется маленькое общество, сейчас скверная музыка, фальшивое пение, скучные маленькие игры, или гости и хозяева с необычайной тягостью волочат разговор, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчастных лошадей, которые, выбившись из сил, тянут против течения по бечевнику нагруженную барку.

Мне хотелось подразнить аббата республикой и не удалось. Он был доволен свободой без излишеств, главное без крови и войны, и считал Ламартина великим человеком, чем-то вроде Перикла.

- И Сафо, - добавил я, не вступая, впрочем, в спор и благодарный за то, что он не говорил ни слова о религии. Так, болтая, доехали мы до Авиньона часов в одиннадцать вечера.

- Позвольте мне, - сказал я аббату, наливая ему за ужином вино, предложить довольно редкий тост: за республику *et pour les hommes de leglise qui sont republicains!*²²

Аббат встал и заключил несколько Цицероновских фраз словами: "*A la Republique future en Russie!*"²³

"*A la Republique universelle!*"²⁴ - закричал кондуктор дилижанса и человека три, сидевших за столом. Мы чокнулись.

Католический поп, два-три сидельца, кондуктор и русские - как же не всеобщая республика?. (258)

А ведь весело было!

- Куда вы? - спросил я аббата, усаживаясь снова в дилижанс и попросив его пастырского благословения на курение сигары.

- В Париж, - отвечал он, - я избран в Национальное собрание; я буду очень рад видеть вас у себя - вот мой адрес.

Это был аббат Сибур, *doyen*²⁵ чего-то, брат парижского архиерея.

...Через две недели наступало 15 мая, этот грозный ритуфель, за которым шли страшные июньские дни. Тут все принадлежит не моей биографии - а биографии рода человеческого...

Об этих днях я много писал.

Я мог бы тут кончить, как старый капитан в старой песне:

Te souviens-tu?.. mais Ici je marrete,

*Ici finit tout noble souvenir*²⁶.

Но с этих-то проклятых дней и начинается последняя часть моей жизни.

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

Тетрадь первая

I. СОН

Помните ли, друзья, как хорош был тот зимний день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи, когда мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались?

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
...Был уже вечер, возок закрипел по снегу, вы смотрели печально вслед и не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все было налицо, одного только не доставало – ближайшего из близких, он один был далек и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде. (259)

Это было 21 января 1847 года.

С тех пор прошли семь лет²⁷, и какие семь лет! В их числе 1848 и 1852.

Чего и чего не было в это время, и все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.

Камня на камне не осталось от прежней жизни, Тогда я был во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне залогов. Я смело шел от вас с опрометчивой самоуверенностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле...

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира – да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и вообще такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки – ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть переехала дорогу...

...Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с дет(260)ского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах.

Испуганный Парижем 1847 года, я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия "просыпалась" на моих глазах! я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви, – вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла ордера свой и пошла – в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение. Когда я пришел в себя, все исчезло – la Sonnambula²⁸, испуганная полицией, упала с крыши, друзья рассеялись или с ожесточением добивали друг друга... И я очутился один-одинехонек, между гробов и колыбелей – сторожем, защитником, мстителем, и ничего не сумел сделать, потому что хотел сделать больше обыкновенного.

И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило, – и остаюсь здесь, потому что не знаю, что из себя делать. Чужая порода людей кишит, мятется около меня, объятая тяжелым дыханьем океана, мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане, в котором очертания смутились, в котором огонь делает только тусклые пятна.

...А та страна, обмытая темно-синим морем, накрытая темно-синим небом... Она одна осталась светлой полосой – по ту сторону кладбища.

О Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за день время, в которое я был пьян тобой!

...Темная ночь. Корсо покрыто народом, кое-где факелы. В Париже уже с месяца провозглашена республика. Новости пришли из Милана – там дерутся, народ требует

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru войны, носится слух, что Карл-Альберт идет с войском. Говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух.

Толпы строятся, они идут к пизмонтскому послу узнать, объявлена ли война.

- В ряды, в ряды с нами! - кричат десятки голосов.

- Мы - иностранцы. (261)

- Тем лучше, Santo dio²⁹, вы наши гости!

Пошли и мы.

- Вперед гостей, вперед дам, вперед *le donne forestiere*!³⁰

И толпа с страстным криком одобрения расступилась. Чичероваккио и с ним молодой римлянин, поэт народных песен, продираются с знаменем, трибун жмет руки дамам и становится с ними во главе десяти, двенадцати тысяч человек, - и все двинулось в том величавом и стройном порядке, который свойственен только одному римскому народу.

Передовые взшли в Палаццо, и через несколько минут двери залы растворились на балкон. Посол явился успокоить народ и подтвердить весть о войне, слова его приняты с иступленной радостью. Чичероваккио был на балконе, сильно освещенный факелами и канделябрами, а возле него осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все четыре русские - не странно ли? Я как теперь их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхающийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и проклятиями иезуитам громкое "*Evviva le donne forestiere*"³¹.

В Англии их и нас освистали бы, осыпали бы грубостями, а может, и камнями. Во Франции приняли бы за подкупных агентов. А здесь аристократический пролетарий, потомок Мария и древних трибунов, горячо и искренно приветствовал нас. Мы им были приняты в европейскую борьбу... и с одной Италией не прервалась еще связь любви, по крайней мере сердечной памяти.

И будто все это было... опьянение, горячка? Может, - но я не завидую тем, которые не увлеклись тогда изящным сновидением. Долго спать все же нельзя было; неумолимый Макбет действительной жизни заносил уже свою руку, чтоб убить "сон"... и

My dream was past - it has no further change!³² (262)

II. В ГРОЗУ

-...Вечером 24 июня, возвращаясь с *Place Maubert*, я взшел в кафе на набережной *Ogsea*. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе; я подошел к окну: уродливая, комическая *banlieue*³³ шла из окрестностей на помощь порядку; неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах, шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком: "Да здравствует Людовик-Наполеон!"

Этот зловещий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поровнялись, закричал изо всех сил: "Да здравствует республика!" Ближние к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался их приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику, наказать собою - Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат.

Двадцать пятого или шестого июня, в 8 часов утра, мы пошли с Анненковым на Елисейские поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия. на *Place de la Concorde* был отряд мобили; около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближних домов, у всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет семнадцати, опираясь на ружье, что-то рассказывал; подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспящих ночей и водки; многие дремали, упирая

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
подбородок на- ружейное дуло.

- Ну, уж тут что было, этого и описать нельзя, - замолчав, он продолжал: да, и они-таки хорошо дра(263)лись, ну только и мы за наших товарищей заплатили! сколько их попадало! я сам до дула всадил штык пяти или шести человекам! - припомнят!-добавил он, желая себя выдать за закоснелого злодея.

Женщины были бледны и молчали, какой-то дворник заметил: "По делам мерзавцам!"... но дикое замечание не нашло ни малейшего отзыва. Это было слишком низкое общество, чтоб сочувствовать резне и несчастному мальчишке, из которого сделали убийцу.

Мы молча и печально пошли к Мадлене. Тут нас остановил кордон Национальной гвардии. Сначала пошарили в карманах, спросили, куда мы идем, и пропустили; но следующий кордон, за Мадленой, отказал в пропуске и отослал нас назад; когда мы возвратились к первому, нас снова остановили.

- Да ведь вы видели, что мы сейчас тут шли?

- Не пропускайте! - закричал офицер.

- Что, вы смеетесь над нами, что ли? - спросил я его.

- Тут нечего толковать, - грубо ответил лавочник в мундире, - берите их ив полицию: одного я знаю (он указал на меня), я его не раз видел на сходках, другой должен быть такой же, они оба не французы, я отвечаю за все - вперед!

Два солдата с ружьями впереди, два за нами, по солдату с каждой стороны, повели нас. Первый встретившийся человек был представитель народа, с глупой воронкой в петлице - это был Токвиль, писавший об Америке. Я обратился к нему и рассказал, в чем дело; шутить было нечего, они без всякого суда держали людей в тюрьме, бросали в тюльерийские подвалы, расстреливали. Токвиль даже не спросил, кто мы; он весьма учтиво раскланялся и отпустил нижеследующую пошлость: "Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжения исполнительной". Как же ему было не быть министром при Бонапарте?

"Исполнительная власть" повела нас по бульвару, в улицу Шоссе Дантен, к комиссару полиции. Кстати, не мешает заметить, что ни при аресте, ни при обыске, ни во время пути я не видал ни одного полицейского: все делали мещане-воины. Бульвар был совершенно пуст, все лавки заперты, жители бросались к окнам и дверям, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за (264) люди. "Des eueutiers etrangers"³⁴, - отвечал наш конвой, и добрые мещане смотрели на нас со скрежетом зубов.

Из полиции нас отослали в Hotel des Capucines; там помещалось министерство иностранных дел, но на это время какая-то временная полицейская комиссия. Мы с конвоем вошли в обширный кабинет. Плешивый старик в очках и весь в черном сидел один за столом; он снова спросил нас все то, что спрашивал комиссар:

- Где ваши виды?

- Мы их никогда не носим, ходя гулять... Он взял какую-то тетрадь, долго просматривал ее, по-видимому ничего не нашел и спросил провожатого:

- Почему вы захватили их?

- Офицер велел; он говорит, что это очень подозрительные люди.

- Хорошо, - сказал старик, - я разберу дело, вы можете идти.

Когда наши провожатые ушли, старик просил нас объяснить причину нашего ареста. Я ему изложил дело, прибавил, что офицер, может, видел меня 15 мая у Собрания, и рассказал случай, бывший со мной вчера: я сидел в кафе "Комартин", вдруг сделалась фальшивая тревога, эскадрон драгун пронесся во весь опор, Национальная гвардия стала строиться, я и человек пять, бывших в кафе, подошли к окну; национальный гвардеец, стоявший внизу, грубо закричал:

- Слышали, что ли, чтоб окна были затворены?

Тон его дал мне право думать, что он не со мной говорит, и я – не обратил ни малейшего внимания на его слова; к тому же я был не один, а случайно стоял впереди. Тогда защитник порядка поднял ружье и, так как это происходило в rez-de-chaussee³⁵, хотел пырнуть штыком, но я заметил его движение, отступил и сказал другим:

– Господа, вы свидетели, что я ему ничего не сделал, – или это такой обычай у Национальной гвардии колоть иностранцев?

– Mais c'est indigne, mais cela na pas de nom!³⁶ – подхватили мои соседи. (265)

Испуганный трактирщик бросился закрывать окна, сержант с подлой наружностью явился с Приказом гнать всех из кофейной; мне казалось, что это был тот самый господин, который велел нас остановить. К тому же кафе "Комартин" в двух шагах от Мадлены.

– Вот то-то, господа, видите, что значит неосторожность, зачем в такое время выходить со двора, умы раздражены, кровь течет...

В это время национальный гвардеец привел какую-то служанку, говоря, что офицер ее схватил в то самое время, как она хотела бросить в ящик письмо, адресованное в Берлин. Старик взял пакет и велел солдату идти.

– Вы можете отправляться домой, – сказал он нам, – только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который вас схватил. Да, постойте, я вам дам провожатого, он вас выведет на Елисейские поля, там можете пройти.

– Ну и вы, – заметил он служанке, отдавая письмо, до которого не дотронулся, – бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше.

Итак, полиция защищала от вооруженных мещан!

Ночью, с 26 на 27 июня, рассказывает Пьер Леру, он был у Сенара, прося его распорядиться насчет пленных, которые задохнулись в подвалах Тюльери. Сенар, человек, известный своим отчаянным консерватизмом, сказал Пьеру Леру:

– А кто будет отвечать за их жизнь на дороге, их перебьет Национальная гвардия? Если б вы пришли часом раньше, вы застали бы здесь двух полковников, я насилу их унял и кончил тем, что сказал им, что если эти ужасы будут продолжаться, то я, вместо президентского стула в Собрании, займу место за баррикадой.

Часа через два, по возвращении домой, явился дворник, незнакомый человек во фраке и человека четыре в блузах, дурно скрывавших муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомец расстегнул фрак и жилет и, с достоинством указывая на трехцветный шарф, сказал, что он комиссар полиции Барле (тот самый, который в Народном собрании второго декабря взял за шиворот человека, взявшего, в свою очередь, Рим, – генерала Удино) и что ему велено сделать у меня обыск. Я подал ему ключи, и он принялся за дело совершенно так, как в 1834 году полицейстер Миллер. (266)

Взошла моя жена; комиссар, как некогда жандармский офицер, приезжавший от Дубельта, стал извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда он, в заключение речи, просил быть снисходительной:

– Это было бы жестокостью с моей стороны не взойти в ваше положение, вы уже довольно наказаны обязанностью делать то, что вы делаете.

Комиссар покраснел, но не сказал ни слова. Порывшись в бумагах и отложив целый ворох, он вдруг подошел к камину, понюхал, потрогал золу и, важно обращаясь ко мне, спросил:

– С какой целью жгли вы бумаги?

– Я не жег бумаг.

– Помилуйте, зола еще теплая.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Нет, она не теплая.

- Monsieur, vous parlez a un magistrat!37

- А зола все же холодная, - сказал я, вспыхнув и подняв голос.

- Что же, я лгу?

- Почему же вы имеете право сомневаться в моих словах... вот с вами какие-то честные работники, пусть попробуют. Ну, да если б я и жег бумагу: во-первых, я вправе жечь, а во-вторых, что же вы сделаете?

- Больше у вас нет бумаг?

- Нет.

- У меня есть еще несколько писем, и презанимательных, пойдите ко мне, сказала моя жена.

- Помилуйте, ваши письма...

- Пожалуйста, не церемоньтесь... ведь вы исполняете ваш долг, пойдите.

Комиссар пошел, слегка взглянул на письма, большей частью из Италии, и хотел выйти...

- А вот вы и не видали, что тут внизу - письмо из Консьержри, от арестанта, видите, не хотите ли взять с собой?

- Помилуйте, сударыня, - отвечал квартальный республики, - вы так предубеждены, мне этого письма вовсе не нужно.

- Что вы намерены сделать с русскими бумагами? - спросил я. (267)

- Их переведут.

- Вот в том-то и дело, откуда вы возьмете переводчика, если из русского посольства, то это равняется доносу, вы погубите пять, шесть человек. Вы меня искренно обяжете, если упомянете в proces verbal38, что я настоятельно прошу взять переводчика из польской эмиграции.

- Я думаю, что это можно.

- Благодарю вас; да вот еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

- Немного.

- Я вам покажу два письма; в них слово "Франция" не упомянуто, писавший их - в руках сардинской полиции, вы увидите по содержанию, что ему плохо будет, если письма дойдут до нее.

- Mais ah ca!39 - заметил комиссар, начинавшей входить в человеческое достоинство. - Вы, кажется, думаете, что мы в связи со всеми деспотическими полициями. Нам дела нет до чужих. Поневоле мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела.

- Очень хорошо, стало, вы письма можете оставить.

Комиссар не солгал, он действительно немного знал по-итальянски и потому, повертевши письма, положил их в карман, обещаясь возвратить.

Тем его визит и кончился. Письма итальянца он отдал на другой день, но мои бумаги канули в воду. Прошел месяц, я написал письмо к Каваньяку, спрашивая его, отчего полиция не возвращает моих бумаг и не говорит о том, что нашла в них, - вещь, может, очень неважная для нее, но чрезвычайно важная для моей чести.

Последнее было вот на чем основано. Несколько знакомых вступились за меня, найдя безобразным визит комиссара и задержание бумаг.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Мы желали удостовериться, - сказал Ламорисьер, - не агент ли он русского правительства.

Это гнусное подозрение я услышал тут в первый раз; для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла так публично, так открыто, как в хрустальном улье, и вдруг сальное обвинение и от кого - от республиканского правительства! (268)

Через неделю меня потребовали в префектуру; Барле был со мной; нас принял в кабинете Дюку молодой чиновник, очень похожий на петербургского начальника отделения из развязных.

- Генерал Каваньяк, - сказал он мне, - поручил префекту возвратить ваши бумаги без малейшего разбора. Сведения, собранные о вас, делают его совершенно излишним, на вас не падает никакого подозрения, вот ваша портфель, не угодно ли вам подписать предварительно эту бумагу?

Это была расписка в том, "что бумаги все сполна мне возвращены".

Я приостановился и спросил, не будет ли правильнее, если я пересмотрю бумаги.

- До них не дотрогивались. Впрочем, вот печать.

- Печать цела, - заметил успокоительно Барле.

- Моей печати тут нет. Да ее и не прикладывали.

- Это моя печать, да ведь у вас был ключик.

Не желая отвечать грубостью, я улыбнулся. Это взбесило обоих; начальник отделения сделался начальником департамента, схватил ножик и, взрезывая печать, сказал довольно грубым тоном:

- Пожалуй, смотрите, коли не верите, только у меня нет столько свободного времени, - и он вышел, кланяясь с важностью.

То, что они рассердились, убедило меня, что бумаг действительно не смотрели, и потому, едва бросив взгляд, я дал расписку и отправился домой.

ГЛАВА XXXVI

"La Tribune des Peuples". - Мицкевич и Рамон де ла Сагра. - Хористы революции 13 июня 1849. - Холера в Париже. - Отъезд.

Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких связей; литературные и политические кружки оставались мне совершенно чуждыми. Причин на это было много. Прямого случая не представлялось - искать я не хотел. Ходить только, чтобы смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился (269) тон снисходительного превосходства французов с русскими: они одобряют, поощряют нас, хвалят наше произношение и наше богатство; мы выносим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами - мы за ними не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него; нам совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невежество, - они пользуются всем этим с безнадежным довольством собой.

Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно импонировать; на это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой.

Не должно, сверх того, забывать, что нет людей, с которыми было бы легче завести шапочное знакомство, как с французами, и нет людей, с которыми было бы труднее в самом деле сойтись. Француз любит жить на людях, чтобы себя показать, чтобы иметь слушателей, и в этом он так же противоположен англичанину, как и во всем остальном. Англичанин смотрит на людей от скуки, смотрит, как из партера, употребляет людей для развлечения, для получения сведений; англичанин постоянно спрашивает, а француз постоянно отвечает. Англичанин все недоумевает, все обдумывает - француз все знает положительно, он кончен и готов, он дальше не

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru пойдет; он любит проповедовать, рассказывать, поучать. Чему? кого? – все равно. Потребности личного сближения у него нет, кафе его вполне удовлетворяет; он, как Репетилов, не замечает, что, вместо Чацкого, стоит Скалозуб, вместо Скалозуба – Загорецкий, и продолжает толковать о Камере присяжных, о Байроне (которого называет "Бирон") и о материях важных.

Возвратившись из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая, потом протрадал июньские дни и осадное положение. Тогда я еще глубже взгляделся в вольтеровского tigre-singe40, – и у меня прошло даже желание знакомиться с сильными республики сей.

Раз представилась было возможность общего труда, которая могла привести в сношение со многими лицами, – (270) да и та не удалась. Граф Ксаверий Браницкий дал семьдесят тысяч франков на основание журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французские газеты занимаются мало и плохо тем, что делается вне Франции; во время республики они думали, что достаточно подчас ободрить все языцы словом *solidarite des peuples*⁴¹, обещанием, как только дома обдосужатся, завести всемирную республику, основанную на всеобщем братстве. При средствах, которые имел новый журнал, названный "Народной трибуной", – из него можно было сделать международный "Монитор" движения и прогресса. Его успех был тем вернее, что всеобщих газет вовсе нет, – в "Теймсе" и "Journal des Debats" бывают превосходные статьи о специальных вопросах, но без связи, случайно, отрывочно. Редакция "Аугсбургской газеты" была бы действительно самая всеобщая, если б от ее черно-желтого направления не так грубо рябило в глазах.

Но, видно, всем добрым начинаниям 1848 года было на роду написано родиться на седьмом месяце и умереть прежде первого зуба. Журнал пошел плохо, вяло – и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849.

Когда все было готово и начеку: дом был нанят и устроен, с большими столами, покрытыми сукном, и маленькими косыми конторками, тощий французский литератор был приставлен смотреть за международными орфографическими ошибками, при редакции учрежден совет из бывших польских нунциев и сенаторов, а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощники которому дан Хоецкий, оставалось торжественно начать, и когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля, и чем же приличнее, как не ужином?

Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза, зато другие нации, от Сицилии до кроатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо – Адам Мицкевич; я его никогда прежде не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, (271) кажется, с медальона Давида данже, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную годами. Много дум и страданий сквозили в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало пережитое несчастье, знакомство с внутренней болью, экзальтацию горести – это был пластический образ судеб Польши. Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля; впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, рассеивало; это что-то был его странный мистицизм, в который он заступал дальше и дальше.

Я подошел к нему, он меня стал спрашивать о России; сведения его были отрывочны, литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию. Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов, – мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то неприязненное к России. Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами; притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора.

Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговей, иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим *laisser aller*⁴². Быть признанным людьми одного образа мнения, иметь на них влияние, видеть их любовь – желает каждый, отдавший душой и телом своим убеждениям, живший ими; но наружных знаков

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru симпатии и уважения я не желал бы принимать: они разрушают равенство и, следовательно, свободу; да, сверх того, в этом отношении нам никак не догнать ни архиереев, ни начальников департаментов, ни полковых командиров.

Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост "в память 24 февраля 1848 г.", что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтоб я, как русский, (272) отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно "е приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост "за Мицкевича" и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз, в Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году. Хомяков поднял бокал со словами "за великого отсутствующего славянского поэта!" имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкий бы и доволен; подтасовавши таким образом наше extempore⁴³, мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост, Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, то есть Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; (меня стало коробить от нее. По мере того как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал одного слова, одного имени, чтоб не оставалось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться!

Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она снова ринется на освобождение всех притесненных народов под теми же орлами, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.

Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:

- Что же вы?
- Я не скажу ни слова после этой речи.
- Пожалуйста, что-нибудь.
- Ни под каким видом.

Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменялся (273) в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое "Je demande la parole"⁴⁴ положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик, лет семидесяти, весь седой, с славной, энергической, наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Район де ла Сагра.

- За двадцать четвертое февраля, - сказал он, - таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за двадцать четвертое февраля и на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королевским или императорским, бурбонским или бонапартовским. Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он смотреть может на дела как поэт, и по-своему прав, но я не хочу, чтоб его слова в таком собрании прошли без протестации... - И пошел, и пошел, со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.

Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, -протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяснение, они не удалась. Де ла Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал.

Хуже предзнаменования для нового журнала не могло быть, он просуществовал кое-как до 13 июня и исчез так незаметно, как существовал. Единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, use par gloire⁴⁵, другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
б наполеоновская полиция была умнее, никогда "Tribune des Peuples" не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июне. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела.

Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они (274) сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то, вместо освобождения, или выдумывают себе кумир, или попадают под влияние какого-нибудь визионера⁴⁶. Мисеианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу. Поклонение Наполеону принадлежит на "первом плане к этому безумию; Наполеон ничего не сделал для них; он не любил Польши, а любил поляков, проливавших за него кровь с тем поэтически колоссальным мужеством, с которым они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра. В 1812 году Наполеон говорил Нарбону: "Я хочу в Польше лагерь, а не форум. Я равно не позволю ни в Варшаве, ни в Москве открыть клуб для демагогов", и из него-то поляки сделали военное воплощение бога, поставили рядом с Вишну и Христом.

Раз вечером, поздно, зимой 1848 шел я с одним поляком из Мицкевичевых приверженцев по Вандомской площади. Когда мы поровнялись с колонной, поляк снял фуражку. "Неужели?.." - подумал я, не смея верить в такую глупость, и смиренно спросил его: что за причина, что он снял фуражку? Поляк показал мне пальцем на бронзового императора. Как же после этого не теснить и не угнетать людей, когда это приобретает столько любви!

В домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, "посеченное богом". Жена его долгое время была поврежденной. Товянский заговаривал ее и будто помог, это особенно поразило Мицкевича, но следы болезни остались... Дела их шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великого поэта, пережившего себя. Он угас в Турции, замешавшись в нелепое дело устройства казацкого легиона, которому Турция запретила называться польским. Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона.

После этой неудачной попытки участвовать в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в трех-четырёх банкетах, то есть ел холодную баранину и пил кислое (275) вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая "Марсельезу". Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России - ни дальней зарницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета; писать ко мне перестали; личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь⁴⁷, наконец, вслед за гробом Николая.

Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение...

...Холера свирепствовала в Париже, тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки, - все это соответствовало событиям.

Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу; вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром, часов в семь, пришли мне сказать, что у нее холера; я пошел к ней и обомлел, - ни одной черты не осталось по-прежнему - она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съезжились, темные тени легли под глазами. Насилу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне:

- Вы сами видите, что тут делать, - прописал что-то и уехал.

Больная подозвала меня и спросила:

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Что вам сказал доктор? Он вам что-то сказал?

- Послать за лекарством.

Она взяла меня за руку - и рука ее удивила меня больше лица: она исхудала и сделалась угловатой, как будто месяц тяжелой болезни прошел с тех пор, как она занемогла, - и, останавливая на мне взгляд, исполненный страдания и ужаса, проговорила:

- Скажите, бога ради, что он сказал... что, умираю я?.. Да вы меня не боитесь? - прибавила она. (276) Мне ее было ужасно жаль в эту минуту; это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивал ее жизнь, должно было быть безмерно мучительно. К утру она умерла.

И. Тургенев собирался ехать из Парижа, срок его квартиры окончился, он пришел ко мне переночевать. После обеда он жаловался на духоту, я сказал ему, что купался утром, вечером пошел и он купаться. Возвратившись, он чувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил меня.

- Я потерянный человек, - сказал он мне, - холера.

У него действительно были тошнота и спазмы; по счастью, он отделался десятью днями болезни.

Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала, в Ville-d'Avray. Когда занемог И. Тургенев, я отправил туда Natalie и детей и остался один с ним, а когда ему стало гораздо легче, переехал и я туда.

Туда-то утром, 12 июня, явился ко мне Сазонов. Он был в величайшем одушевлении, говорил о готовящемся движении, о неминувости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво лавр. Я говорил ему, что он знает мое мнение о настоящем положении дел, что мне кажется глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего.

На это восторженный агитатор заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки, в то время как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам и даже к преступлениям, заговорило во мне.

- Да с чего же ты вообразил, что я не пойду?

- Я так заключил из твоих слов.

- Нет, я сказал, что это глупо, но ведь не говорил, что я никогда не делаю глупостей.

- Вот этого-то я и хотел. Вот таким-то я тебя люблю! Ну, так нечего терять времени, едем в Париж. Сегодня вечером немцы и другие рефюжье собираются в девять часов, пойдем сначала к ним.

- Где же они собираются? -спросил я" его в вагоне.

- В cafe Lamblin, в Palais-Royale. (277)

Это было мое первое удивление.

- Как в cafe Lamblin?

- Там обыкновенно собираются "красные".

- Именно потому-то, мне кажется, и следовало бы сегодня собраться в другом месте.

- Да уже они все там привыкли.

- Пиво, верно, очень хорошо!

В кафе, за десятком маленьких столиков, важно заседали разные *habitués*⁴⁸ революции, значительно и мрачно посматривавшие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их табло⁴⁹, их фон, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застрашать англичан,

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая шагистика была главным в военном деле, – так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена – главное в революции.

В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частью очень недалёкие и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.

Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, то есть те общие места, которые последовательно проявляются одни и те же, а *tour de rôle*⁵⁰, – как уточки в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходах. (278)

Сверх людей наивных, революционных доктринеров, в эту среду естественно втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученье, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. Внешнее руководство, которое гуртом пасет в обыкновенные времена стада человеческие, слабеет во времена переворотов, люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой, и то только по-видимому, всплывают знаменитости в революционные времена – поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сделано сегодня, можно сделать завтра, можно и вовсе не делать.

Хористы революции, подобно хору греческих трагедий, делятся еще на полухоры: к ним идет ботаническая классификация: одни из них могут назваться тайнобрачными, другие – явнобрачными. Одни из них делаются вечными заговорщиками, меняют по нескольку раз квартиру и форму бороды. Они таинственно приглашают на какие-то необыкновенно важные свидания, если можно, ночью или в каком-нибудь неудобном месте. Встречаясь публично с своими друзьями, они не любят кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрывают свой адрес, не сообщают день отъезда, не сказывают, куда едут, пишут шифрами и химическими чернилами новости, напечатанные просто голландской сажой в газетах.

При Людвиге-Филиппе, рассказывал мне один француз, Э., замешанный в какое-то политическое дело, скрывался в Париже; при всех своих прелестях, такая жизнь становится а *la longue*⁵¹ утомительна и скучна. Делессер, *bon vivant*⁵² и богатый человек, был тогда префектом; он служил по полиции не из нужды, а из страсти и любил иногда весело пообедать. У него и у Э. было много общих приятелей; раз, между "грушей и сыром", как говорят французы, один из них сказал ему: (279)

– Какая досада, что вы так преследуете бедного Эл Мы лишены славного собеседника, и он должен скрываться, как преступник.

– Помилуйте, – сказал Делессер, – об его деле помину нет. Зачем он прячется? – Знакомые его иронически улыбались. – Я его постараюсь уверить, что он делает вздор, и вас с тем вместе.

Приехавши домой, он позвал одного из главных шпионов и спросил его:

– Что Э., в Париже?

- В Париже, - отвечал шпион.
- Прячется? - спросил Делессер.
- Прячется, - отвечал шпион.
- Где? - спросил Делессер. Шпион вынул книжку, порылся в ней и прочел его адрес.
- Хорошо, так ступайте к нему завтра утром рано и скажите, что он напрасно беспокоится, что мы его не ищем и что он может спокойно жить на своей квартире.

Шпион в точности исполнил приказание, а через два часа после его визита Э. таинственно извещал своих близких и друзей, что он уезжает из Парижа и будет скрываться в одном из дальних городов, потому-де, что префект открыл место, где он прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завесой таинственности и красноречивым молчанием свою тайну, столько явнотрачные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это бессменные трибуны кофейных и клубов; они постоянно недовольны всем и хлопчут обо всем, все сообщают, даже то, чего не было, а то, что было, является у них, как горы в рельефных картах, возведенное в квадрат и куб. Глаз до того к ним привыкает, что невольно ищет их при всяком уличном шуме, при всякой демонстрации, на всяком банкете.

... Для меня зрелище в *cafe Lamblin* было еще ново, я мало был знаком тогда с задним двором революции. Правда, я ходил в Риме и в *caffe delle Belle Arti* и на площадь, бывал в *Circolo Romano* и в *Circolo Popolare*, но тогдашнее римское движение не имело еще того характера политической махровости, который особенно развился после неудач 1848 года. Чичероваккио и его друзья имели свои наивности, свою южную мимику, которая нам кажется фразой, и свои итальянские фразы, (280) которые мы принимаем за декламацию, но они были в периоде юного увлечения, они еще не пришли в себя после трехвекового сна; *il popolare*⁵³ Чичероваккио вовсе не был политическим агитатором по ремеслу, он ничего лучше не просил бы, как снова удалиться с миром в свой небольшой дом *Strada Ripetta*⁵⁴ и торговать лесом и дровами в кругу своей семьи, как *pater familias* и свободный *civis romanus*⁵⁵.

В людях, его окружавших, не могло быть той печати пошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера *tare*⁵⁶, который так печально распространился во Франции.

Само собою разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех делателях и двигателях событий, - кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той накипевшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация - цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова или как шагистика - Николаю.

Реакции радоваться нечему - не такими репейниками и мухоморами поросла она, и не на окраинах, а повсюду. В ней целые населения чиновников, дрожащих перед начальниками, шныряющих шпионов, вольнонаемных убийц, готовых драться с той и другой стороны, офицеров во всех отвратительных видах, от прусского юнкерта до хищных французских алжирцев, от гвардейцев до "камер-пажей". И тут мы еще только коснулись светской реакция, не трогая ни нищенствующую братию, ни интригующих иезуитов, ни полицействующих попов, ни прочих членов ангельского и архангельского чина.

Если в реакции есть что-нибудь похожее на наших дилетантов революции, то это придворные - люди, употребляемые для церемоний, люди выходов и входов, (281) люди, бросающиеся в глаза на крестинах и бракосочетаниях, на коронациях и похоронах, люди для мундира, для шитья, представляющие лучи власти, ее аромат.

В *cafe Larablin*, где отчаянные граждане сидели за пиверами⁵⁷ и большими

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru стаканами, я узнал, что нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы. Вдохновение должно сойти, как некогда святой дух на голову апостолов. Только в одном пункте все были согласны, - в том, чтоб явиться на место сбора без оружия. После пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтоб завтра в восемь часов утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle, против Chateau d'Eau, мы отправились в редакцию "Истинной республики".

Издателя не было дома: он поехал к "горцам" за инструкциями. В большой, почернелой, слабо освещенной и еще слабее меблированной зале, служившей редакции для сбора и совещаний, было человек двадцать, большей частью поляки и немцы. Сазонов взял лист бумаги и принялся что-то писать; написавши, он нам прочел: это была протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении. Тем, кто хотел обессмертить свое имя, связывая его с славным завтра, - он предлагал подписаться. Почти все хотели обессмертить свое имя и подписались. Вошел издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что он много знает, но должен молчать; я был уверен, что он ничего не знает.

- Citoyens, - сказал Торэ, - la Montagne est en permanence⁵⁸. Ну что же сомневаться в успехе - en permanence! - Сазонов передал издателю протестацию европейской демократии. Издатель перечитал и сказал:

- Это прекрасно, это прекрасно! Франция вас благодарит, граждане; но зачем же подписи? Их так немного, что в случае неудачи на вас обрушится вся злоба наших врагов.

Сазонов настаивал, чтобы имена остались; многие были согласны с ним.

- Я не беру этого на мою ответственность, - возразил издатель, - простите меня, я лучше вас знаю, с кем мы имеем дело. (282)

При этом он оторвал подписи и предал имена дюжины кандидатов на бессмертие - всесожжению на свече, а текст послал набирать в типографию.

Когда мы вышли из редакции, рассветало; толпы оборванных мальчишек и несчастных, убого одетых женщин стояли, сидели, лежали по тротуарам, возле разных редакций, ожидая кипы журналов - одни, чтоб их складывать, другие, чтоб бежать с ними во все концы Парижа. Мы вышли на бульвар - тишина была совершенная, изредка попадались патрули Национальной гвардии, прогуливались и лукаво посматривавшие городовые сержанты.

- Как беззаботно спит этот город, - сказал мой товарищ, - не предчувствуя, какая гроза его разбудит завтра!

- Вот кто не спит за нас за всех, - сказал я ему, указывая наверх, то есть на освещенное окно в Maison-d'Or. - Это очень кстати, зайдем выпить абсину; у меня что-то на желудке нехорошо.

- А у меня пусто, к тому же оно и недурно поужинать; как едят в Капитолии, я не знаю, ну, а в Консьержри кормят отвратительно.

По костям холодной индейки, оставшимся от трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирепствовала в Париже, ни того, что мы идем через два часа менять судьбы Европы. Мы ели в Maison-d'Or так, как Наполеон спал под Аустерлицем.

Часу в девятом, когда мы пришли на бульвар Bonne Nouvelle, на нем уже стояли многочисленные кучки людей, с видимым нетерпением ожидавших, что делать; на лицах было написано недоумение, но с тем вместе по особенной физиономии групп видно было большое озлобление. Найди себе эти люди настоящих вожатаев, день не кончился бы фарсом.

Была минута, в которую мне показалось, что сейчас завяжется дело. Какой-то господин довольно тихо ехал верхом по бульварам. В нем узнали одного из министров (Лакруа), который, вероятно, не для одного чистого воздуха прогуливался верхом так рано. Его окружили с криком, стащили с лошади, изодрали ему фрак и потом отпустили, то есть другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часам к десяти могло быть до двадцати пяти тысяч человек.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Кого мы ни спрашивали, (283) к кому мы ни обращались, никто ничего не знал. Керсози, времен минувших карбонаро, уверял нас, что банлье59 входит в Ars de Triumphe с криком: "Vive la République!"

"Пуще всего, - опять повторяли все старейшины демократии, - будьте без оружия, а то вы испортите характер дела. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить Собранию свою волю, чтоб не дать врагам никакого повода к клевете".

Наконец, колонны состроились. Из нас, иностранцев, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, в числе которых были Э. Араго, в полковничьем мундире, бывший министр Бастид и другие знаменитости 1848 года. С разными криками и с "Марсельезой" двинулись мы по бульвару. Кто не слышал "Марсельезы", петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма.

В эту минуту демонстрация получила величавый характер. По мере того как мы тихо двигались по бульварам, все окна отворялись; дамы, дети толкались у них и выходили на балконы; мрачные и встревоженные лица их мужей, отцов-проприетеров60 высывывались из-за них, не замечая, что в четвертых этажах и мансардах выглядывались другие головки - бедных швей и работниц; они махали нам платками, кланялись и приветствовали руками. Время от времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домов известных лиц.

Так дошли мы до того места, где Rue de la Paix входит в бульвары; она была заперта взводом венсенских стрелков, и, когда наша колонна поровнялась с ними, стрелки вдруг расступились, как декорация в театре, - и Шангарнье верхом на небольшой лошади скакал перед эскадроном драгунов. Без всяких соммаций61, без барабанного боя и прочих законом предписанных форм, он, смяв передовые ряды, отрезал их от прочих и, развернув драгунов на две стороны, велел им скорым шагом расчистить улицу. Драгуны с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной (284) при малейшем сопротивлении. Я едва успел сообразить, что случилось, как очутился нос с носом с лошадью, которая фыркала мне в лицо и с драгуном, который, ругаясь, также не за глаза, грозился вытянуть меня фухтелем, если я не пойду в сторону. Я подался направо и в одно мгновение был увлечен толпой и прижат к решетке Rue Basse des Remparts. Из нашего ряда остался возле меня один Мюллер-Стрюбинг; между тем драгуны жали передовых людей лошадьми, а они нас людьми, которым некуда было деться. Э. Араго соскочил в улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнул себе ногу; вслед за ним соскочил и я с Стрюбингом; мы взглянули друг на друга с каким-то бешенством негодования, Стрюбинг обернулся и громко закричал: "Au armes! Au armes!"62 Человек в блузе схватил его за воротник и, толкая в другую сторону, сказал:

- Что вы, с ума сошли, что ли?., смотрите сюда. По улице - должно быть, Chaussee d'Antin - двигалась густая щетина штыков.

- Ступайте, пока вас не слышали да пока не отрезали дороги. Все пропало! все! - прибавил он, сжимая кулак, и, напевая песню, - будто ничего не было, удалился скорыми шагами.

Мы пошли на площадь Согласия На Елисейских полях не было ни одного взвода из банлье; ведь и Керсози знал, что не было; это была дипломатическая ложь к спасению, а может, она была бы и к гибели тех, которые поверили бы.

Наглость нападения на безоружных людей возбудила большую злобу. Будь в самом деле что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, как начать настоящий бой. "Гора", вместо того чтоб явиться во весь рост, услышав о том, как смешно разогнали лошадьми самодержавный народ, скрылась за облаком. Ледрю-Роллен вел переговоры с Гинаром. Гинар, начальник артиллерии Национальной гвардии, хотел сам пристать к движению, хотел дать людям, соглашался дать пушки, но ни под каким видом не хотел давать зарядов; он как-то хотел действовать моральной стороной пушек; то же делал со своим легионом Форестье. Много ли им помогло это - мы видели по версальскому процессу. (285)

Всем чего-то хотелось - но никто не дерзал; всего предусмотрительнее оказались несколько молодых людей, с надеждой на новый порядок - они заказали себе префектские мундиры, которых, после неудачи движения, не взяли, в портной принужден был вывесить их на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось в Arts et Metiers, работники, походивши по улицам с вопрошающим взглядом и не находя ни совета, ни призыва, – отправились домой, еще раз убедившись в несостоятельности "горных" отцов отечества, может быть, глотая слезы, как блузник, говоривший нам: "Все погибло! – все!", а может, и смеясь исподтишка тому, что "Гора" опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализм Гинара – все это внешние причины неудачи и являются с тем же кстати, как резкие характеры и счастливые обстоятельства, когда их нужно. Внутренняя причина состояла в бедности той республиканской идеи, из которой шло движение. Идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой, могут даже – как Христос – еще раз, два показаться после смерти своим адептам, – но трудно для них снова завладеть жизнью и вести ее. Они не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей. Если б "Гора" одолела 13 июня, – что бы она сделала? Нового у "ее за душой ничего не было. Опять бесцветная фотография яркой и мрачной рембрандтовской, сальватор-розовской картины 1793 года, без якобинцев, без войны, даже без наивной гильотины...

Вслед за 13 июнем и опытом лионского восстания – начались аресты; мэр с полицией приходил к нам в Ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге; часть знакомых была захвачена. Крнсьержри была набита битком, в небольшом зале было до шестидесяти человек; посреди него стоял ушат для нечистот, раз в сутки его выносили – и все это в образованном Париже, во время свирепейшей холеры. Не имея ни малейшей охоты прожить месяца два в этом комфорте, на гнилых бобах и тухлой говядине, я взял пасс у одного молдовалаха и уехал в Женеву⁶³. (286)

Тогда еще возили Францию Lafitte и Caillard; дилижансы ставили на железную дорогу, потом снимали, помнится, в Шалоне и опять где-то ставили. Со мной в купе сел худощавый мужчина, загорелый, с подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавший на меня; с ним был небольшой сак и шпага, завернутая в клеенку. Очевидно, что это был переодетый городской сержант. Он тщательно осмотрел меня с ног до головы, потом уткнулся в угол и не произнес ни одного слова. На первой станции он подозвал кондуктора и сказал ему, что забыл превосходную карту, что он его обяжет, давши клочок бумаги и конверт. Кондуктор заметил, что до звонка остается всего минуты три; сержант выпрыгнул и, возвратившись, стал еще подозрительнее осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчание, даже позволение курить он спросил у меня молча; я отвечал также головой и глазами и вынул сам сигару. Когда стало смеркаться, он спросил меня:

– Вы в Женеву?

– Нет, в Лион, – отвечал я.

– А! – Тем разговор и кончился.

Через несколько времени отворилась дверь и кондуктор с трудом всунул плешивую фигуру в пространном гороховом пальто, в цветном жилете, с толстой тростью, мешком, зонтиком и огромным животом. Когда этот тип добродетельного дяди уселся между мной и сержантом, я его спросил, не давши ему прийти в себя от одышки:

– Monsieur, vous n'avez pas objection?⁶⁴ Кашляя, отирая пот и повязывая фуляром голову, он отвечал мне:

– Сделайте одолжение; помилуйте, мой сын, который теперь в Алжире, всегда курит, il fume toujours, – и потом, с легкой руки; пошел рассказывать и болтать; через полчаса он уже допросил меня, откуда я и куда еду, и, услышав, что я из Валахии, с свойственной французу учтивостью прибавил: "Ah! cest un beau pays"⁶⁵, хотя он и не знал наверно, в Турции она или в Венгрии.

Сосед мой отвечал на его вопросы очень лаконически.

– Monsieur est militaire?

– Oui, monsieur. (287)

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Monsieur a ete en Algeie?

- Oui, monsieur66.

- Мой старший сын тоже, он я теперь там. Вы, верно, в Оран?

- Non, monsieur.

- А в ваших странах есть дилижансы?

- Между Яссами и Бухарестом, - отвечал я с неподражаемой самоуверенностью. - Только у нас дилижансы ходят на волах.

Это привело в крайнее удивление моего соседа, и он наверно присягнул бы, что я валах; после этой счастливой подробности даже сержант смягчился и стал разговорчивее.

В Лионе я взял свой чемодан и тотчас поехал в другую контору дилижансов, вскарабкался на империал и через пять минут скакал уже по женеvской дороге. В последнем большом городе, на площадке перед полицейским домом, сидел комиссар полиции с писарем, около стояли жандармы, тут свидетельствовали предварительно пассы. Приметы не совсем шли ко мне, а потому, слезая с империала, я сказал жандарму:

- Mon brave67, пожалуйста, где бы на скорую руку выпить стакан вина с вами, укажите, мочи нет, какой жар.

- Да вот тут, два шага, кафе моей родной сестры.

- А как же быть с пассом?

- Давайте сюда, я отдам моему товарищу, он принесет его нам.

Через минуту мы осушали с жандармом бутылку Бон в кафе его родной сестры, а через пять его приятель принес пасс, я ему поднес стакан, он приложил руку к шляпе, и мы отправились друзьями к дилижансу. Первый раз сошло хорошо с рук. Приезжаем на границу - река, на реке мост, за мостом пиэмонтская таможня. Французские жандармы на берегу таскаются во всех направлениях, ищут Ледрю-Роллена, который давно проехал, или по крайней мере Феликса Пиа, который все-таки проедет и, так же как я, с валахским пассом.

Кондуктор заметил нам, что здесь окончательно смот(288)рят бумаги, что это продолжается довольно долго, с полчаса, в силу чего советовал поест в почтовом трактире. Мы вошли и только что уселись, прикатил другой лионский дилижанс; входят пассажиры, и первый - мой сержант, фу, пропасть какая, я ведь ему сказал, что еду в Лион. Мы с ним сухо поклонились, он также, кажется, удивился, однако не сказал ни слова.

Пришел жандарм, роздал пассы, дилижансы были уже "а той стороне.

- Извольте, господа, отправляться пешком через мост.

Вот тут-то, думаю, и пойдет история. Вышли мы... Вот и на мосту - истории нет, вот и за мостом - истории нет.

- Ха, ха, ха! - сказал, нервно смеясь, сержант, - переехали-таки, фу, как будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

- Как, - сказал я, - и вы?

- Да ведь и вы, кажется?

- Помилуйте, - отвечал я, смеясь от души, - прямо из Бухареста, чуть не на волах.

- Ваше счастье, - сказал мне кондуктор, грозя пальцем, - а вперед будьте осторожнее. Зачем вы дали два франка на водку мальчику, который привел вас в контору? Хорошо, что он тоже наш, он мне тотчас сказал: "Должно быть, красный;

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru ни минуты не остался в Лионе и так обрадовался ему, что дал мне два франка на водку". - "Ну, молчи, не твое дело, - сказал я ему, - а то услышит бестия какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановит".

На другой день мы приехали в Женеву, эту старинную гавань гонимых... "Во время смерти короля сто пятьдесят семейств, - говорит Мишле в своей истории XVI столетия, - бежали в Женеву; спустя некоторое время еще тысяча четыреста. Выходцы французские и выходцы из Италии основали истинную Женеву, это удивительное убежище между тремя нациями; без всякой опоры, боясь самих швейцарцев, оно держалось одной нравственной силой".

Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие остатки европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев перешагивали Рейн, другие спускались с С.-Готарда или шли из-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смело открыто их гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убежища.

Точно на смотре, церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва, которых я любил заочно и к которым теперь торопился навстречу...

ГЛАВА XXXVII

Вавилонское столпотворение. - Немецкие Umwälzungs-mannefb168. Французские красные горцы. - Итальянские fuorusciti69 в Женеве. - Маццини, Гарибальди, Орсини.. романская и германская традиция. - Прогулка на "Князе Радецком".

Было время, когда, в порыве раздражения и горького смеха, я собирался, на манер гранвилевской иллюстрации, написать памфлет: "Les refugies peints par eux-memes"70. Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжело гнетет людей...

Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграции, предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, злобные споры (не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной (290) наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерный тип.

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от не эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен.

Эмигранты 1849 не верили еще в продолжительность победы своих врагов, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женевы была битком набита выходцами, она делалась Кобленцем революции 1848 года. Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия, от версальского процесса, баденские ошаченцы, вступившие в Женеву правильным строем, с своими офицерами и с Густавом Струве, участники венского восстания, богемцы, познанские и галицийские поляки, - все это толпилось между отель де Берг и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция не минутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и рождения республики демократической и социальной - одни, другие - демократической, но. отнюдь не социальной.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника, в низкой шляпе с большими полями, в черном белом сертуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием; возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Ф. Капп.

- Вы не знаете их? - спросил он меня. (291)

- Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который, вместо фиговых листьев, надел не по мерке сшитое пальто.

- Это Струве и Гейнцен, - ответил он, смеясь. - Хотите познакомиться?

- Очень.

Он подвел меня.

Разговор был ничтожен; Струве возвращался домой и просил зайти, мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь их сидела высокая и издала очень красивая женщина, с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной, - это была известная Амалия Струве, его жена.

Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на покойное выражение глаз, на нечесаную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска Густава-Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующий покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнца, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибальской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет, добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев; он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано ни придешь в Cafe de la Poste, а доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету, зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо:

- Я думаю, что сегодня в Париже горячий день.

- Отчего же?

- Я вам не могу сказать, от кого я слышал, но только от близкого человека Ледрю-Роллена, он был здесь проездом... (292)

- Да ведь вы и вчера и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор?

- Ну так что ж, Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut⁷¹.

Вот к нему-то, как к другу Гейнца, в том же самом кафе я и обратился, "когда Гейнцен напечатал свою филантропическую программу.

- Зачем же, - сказал я ему, - ваш приятель пишет, такой вредный вздор? Реакция кричит, да и имеет право - что за Мара, переложенный на немецкие нравы, да и как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

- Послушайте, - сказал он наконец, - вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческом, в этом числе по крайней мере двести тысяч китайцев.

- Ну, вот это другое дело, чего их жалеть, - ответил я и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Дня через два после моей встречи в Паки гарсон Hotel des Bergues, где я стоял, прибежал ко мне в комнату и с важной миной возвестил:

- Генерал Струве с своими адъютантами.

Я подумал, или что мальчика кто-нибудь подослал шутя, или что он что-нибудь переврал; но дверь отворилась, и

Mit bedachtigem Schrittt

Густав Струве tritt...72

и с ним четыре господина; двое были в военном костюме, как их тогда носили фрейшерлеры⁷³, и вдобавок с большими красными брасарами⁷⁴, украшенными разными эмблемами. Струве представил мне свою свиту, демократически называя ее "братьями в ссылке". Я с удовольствием узнал, что один из них, молодой человек лет двадцати, с видом бурша, недавно вышедшего из фуксов, успешно занимал уже должность министра внутренних дел per interim⁷⁵. (293)

Струве тотчас начал меня поучать своей теории о семи бичах, der sieben Gisseln: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д., и о водворении какой-то новой демократической и революционной религии. Я заметил ему, что если уже это зависит от нашей воли, заводить или нет новую религию, то лучше не заводить никакой, а предоставить это воле божией, оно же и по сущности дела относится более до нее. Мы поспорили. Струве что-то отпустил о weltseele⁷⁶, я ему заметил, что, несмотря на то, что Шеллинг так ясно определил мировую душу, называя ее das Schwebende⁷⁷, мне она порядком не дается. Он вскочил со стула и, подошедши ко мне как нельзя ближе со словами "извините, позвольте", принялся играть пальцами на моей голове, нажимая, как будто череп у меня был составлен из клавишей фисгармоники.

- Действительно, - прибавил он, обращаясь к четырем братьям в ссылке: Burger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration⁷⁸.

Все были довольны отсутствием у меня "бугра почтительности", и я тоже.

При этом он объявил мне, что он глубокий френолог и не только писал книгу о Галлевой системе, но даже выбрал по ней свою Амалию, потрогавши предварительно ее череп. Он уверял, что у нее бугра страстей совсем почти не существует и что задняя часть черепа, обиталище их, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причине он женился на ней.

Струве был большой чудак, ел одно постное с прибавкой молока, не пил вина и на такой же диете держал свою Амалию. Ему казалось и этого мало, и он всякий день ходил купаться с нею в Арву, где вода середь лета едва достигает восьми градусов, не успевая нагреться, - так быстро стекает она с гор.

Впоследствии мне случалось говорить с ним о растительной пище. Я возражал ему, как обыкновенно возражают: устройством зубов, большей потерей сил на претворение растительного фибрина, указывал на меньшее развитие мозга у травоядных животных. Он слушал (кротко, не сердился, но стоял на своем. В заключение он, видимо желая меня (294) поразить, сказал мне:

- Знаете ли вы, что человек, всегда питающийся растительной пищей, до того очищает свое тело, что оно совсем не пахнет после смерти?

- Это очень приятно, - возразил я ему, - но мне-то от этого какая же польза? я не буду нюхать сам себя после смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказал мне с спокойным убеждением:

- Вы еще будете иначе говорить!

- Когда вырастет бугор почтительности, - прибавил я.

В конце 1849 Струве прислал мне свой, вновь изобретенный для вольной Германии календарь. Дни, месяцы- все было переведено на какое-то древнегерманское и трудно понятное наречие; вместо святых каждый день был посвящен воспоминанию двух знаменитостей, например Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался в

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru память врагов рода человеческого, например Николая и Меттерниха. Праздниками были те дни, когда воспоминание падало на особенно великих людей, на Лютера, Колумба и проч. В этом календаре Струве галантно заменил 25 декабря, рождество Христово, праздником Амалии!

Как-то, встретившись со мной на улице, он, между прочим, сказал, что надобно было бы издавать в Женеве журнал, общий всем эмиграциям, на трех языках, который мог бы бороться против "семи бичей" и поддерживать "священный огонь" народов, раздавленных теперь реакцией. Я ему отвечал, что, разумеется, это было бы хорошо.

Издание журналов было тогда повальной болезнью: каждые две-три недели возникали проекты, являлись спесимены⁷⁹, рассылались программы, потом номера два-три - и все исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, все еще считали себя способными на издание журнала, сколачивали сто - двести франков и употребляли их на первый и последний лист. Поэтому намерение Струве меня несколько не удивило; но удивило, и очень, его появление ко мне на другое утро, часов в семь. Я думал, что случилось какое-нибудь несчастье, но (295) Струве, спокойно усевшись, вынул из кармана какую-то бумагу и, приготавливаясь читать, сказал:

- Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.

Прочитавши, он объявил, что пойдет к Маццини и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену: он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую, он протянул мне, густо пробормотавши: "Бюргер, плац!"⁸⁰

Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писал что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценем. Гейнцен прочистил голос и начал читать по-немецки, несмотря на то, что общий всем язык был один французский.

Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не содрогнувшийся перед требованием двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.

Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпиди-фора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора⁸¹.

Маццини хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. "Si om-nes consentiunt, ego non dessentio"⁸², подумал я а la (296) Шуфтерле в шиллеровских "Разбойниках" и тоже подписался.

Однако ж акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал - подписанной суммы было недостаточно.

- Господа, - сказал Маццини, - я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода, я буду помещать все замечательные статьи в моей "Italia del Popolo", вот вам одной третью расходов и меньше.

- В самом деле! Чего же лучше!

Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:

- Вы славно отделались от журнала.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Послушайте, - заметил он, - ведь итальянская часть в самом деле лишняя.

- Так, как и две остальные! - добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.

Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спино.

Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек, с печально рассеянным выражением - это был товарищ Маццини по триумvirату, Марк Аврелий Саффи.

Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими пронизательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко, сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснялось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; (297) в них и в морщинах на лбу - бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, несанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей или, лучше, одной сильной страсти, да еще что-то фанатическое - может, аскетическое.

Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва (может скрыть досаду при противуречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.

Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннингах и в Альпах, в царственных palazzi аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские принчипе⁸³, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты - все шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.

Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандиера, ряд за рядом, выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики... и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабефа, - идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику: "Viva Italia!" "Evviva Mazzini!"⁸⁴

Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме (298) Италии, - разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:

Пианори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобы смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку, она мне казалась так же несовременна, как два предпоследние опыта в Милане, но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и реформы!

Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый со знаменем в руке – а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула – дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах.

Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась в народе.

Sceser con l'armi, e a noi pop fecer guerra,

Ma sinchinaron per baciare la terra:

Ad uno, ad uno li guardai nel viso,

Tutti avean una lagrima e un sorriso,

Li disser ladri, usciti dalle tane,

Ma pop portaron via nemmeno un pane;

E li sentii mandare un solo grido:

Siam venuti a morir per nostro lido

Eran trecento, eran giovani e forti:

E sono morti!

Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro

Un giovin camminava innanzi a loro;

Mi feci ardita, e presi per la mano, (299)

Gli chiesi: Dove vai bel capitano?

Guardommi e mi rispose – O mia sorella,

Vado a morir per la mia patria bella!

Io mi sentii tremare tutto il core;

Ne potei dirgli: Vaiuti il Signore,

Eran trecento, eran giovani e forti:

E sono morti!

L. Mercantini. "La Spigolatrice di sapri"⁸⁵.

В 1849 году Маццини был властью, правительства неدارом боялись его; звезда его тогда была в полном блеске – но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться.

Одни из друзей Маццини сблизились с Пизмонтом, другие с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову.

Сам Гарибальди скрепя сердце произнес строгий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его.

.....

.....

Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают, чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва (300) ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый, - опять принимается за дело с судорожной горячностью.

В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обуславливает успех, она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.

Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели ни битого, стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. французский дюжинный демократ - буржуа in spe⁸⁶, немецкий революционер, так же как немецкий бурш - тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы самобытнее, индивидуальнее.

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей - оно совершенно во французском духе устроило общественное воспитание, то есть воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час то тем же (301) книгам - одно и то же. На всех экзаменах, задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры, учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по. натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз - природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, - скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.

Образованный итальянец выработывался, как наш брат, сам собой, жизнью, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки, Итальянец имеет ту же склонность к лени, как и мы; он не находит, что работа - наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.

История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки del popolo grasso⁸⁷, не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и контадину⁸⁸, чем наскоро обогатевшая чернь (302) других стран. Мещанство, в французском смысле, собственно представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru назвать, как это делается в геологии, пиэмонт-ским слоем. Он отличается в Италии, так же как во всей материке Европы, тем, что во многих вопросах постоянно либерален и во всех – боится народа и слишком нескромных толков о труде и заплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда своим снизу.

Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Бор-ромеи, Дель-верме, Бельжойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким усюком Ромео из Абрुцц, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори, поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвязал свою сутану и все время осады и защиты Маргеры с ружьем в руке дрался под градом пуль в передовых рядах; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццокапо, тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвав их, нельзя не приостановиться.

С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вестиндских доках; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне и с Орсини. Гарибальди в толстом светлом пальто, с яркоцветным шарфом на шее и фуражкой на голове казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. (303)

Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него, они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном, – вдруг он вскопчил, говоря: "Постойте! С вами мы выпьем другого вина", – и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке... Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто беллет из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.

Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пиэмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь – освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике, как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.

Когда он отплывал за углем в Нью-кестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благу часть.

– А кто им не велит сделать то же, – возразил он с жаром. – Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Аме(304)рике знают; я мог бы иметь под моим начальством – три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара – все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже-это

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
конец, это страна "забвения родины", это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью. Пловучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недостижимая!

В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из "Энеиды"... о котором – живи он в иной век – сложилась бы своя легенда, свое "Arma virumque cano!"⁸⁹

Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года в Rue Lepelletier; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатилетнюю голову под нож гильотины. Я познакомился с Орсини в Ницце в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались,

наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга.

Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите – только не пошлые, будничные мещане. Такие личности ярко вырезаются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое (305) лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивы на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских "отцов отечества" и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнью, но не дорожат также и жизнью ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой – весь римский героизм лишений и смерти.

Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной – а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект гранат, потом, лицом к лицу с опасностью – бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стоящий осколками гранаты...

Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с *bravi* 90, с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.

Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движением и бархатным прыжком барса. Они дети, но дети злые. Не только дантов (306) ад "вымощен" ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини – как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого "искателя морских приключений" Колумба, ни величайшего "бандита" новейших веков – Наполеона Бонапарта.

Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа⁹¹. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшархнет, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и - пойдет далее без раскаяния и сомнения.

Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: "Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ, все очень хорошо". Мы, знавшие, что он ожидает письма, не (307) догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.

И что же сделал он с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьверьм? Пи-закане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. O divina Corn-media!⁹² или просто Commedia! в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!

...С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.

Медичи - ломбард. В начальной юности, томимый безнадёжным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.

Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами - Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса⁹³ и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, - в нем все было изящно и нравилось.

Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вежи, знаки фарватера были по(308)теряны, не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих "Записках", но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: "На дворе прелесть, пойдёмте в Альбаро", - там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.

В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей Пизакане, Мордини, Козенц...

- Отчего, - сказал я шутя, - наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то вандейковских рыцарей, чем итальянца?

- Это естественно, - прибавил, продолжая шутить, Пизакане. - Джакомо ломбард, он

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.

- Fratelli94, - сказал Медичи, - немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!

- Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, - продолжал тот.

- Извольте, - сказал Медичи. - Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!

Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не русскими. Западные люди часто бывают недалёкие и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан - простота от нерасторопности ума, оттого, что они все как будто спростонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они (309) прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.

Вот почему становится так отраднo, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи. Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики., Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда - под ядрами и пулями.

Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины: эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться, - ему надобно было действовать, готовить движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: он рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта... Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге. (310)

В Лондоне, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частью молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, *il ne savait pas se faire valoir...*⁹⁵ Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слышал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.

Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлексией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.

Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie...

Людам деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться... я не знаю... ну, на Моцарта например, зачем он не годился в драбанты. Это – возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказал ему:

– Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы все ее забываете!

– Какую?

– Да то, что он умер в тысяча восемьсот тридцать шестом году. (311)

Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем думает.

Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что в сущности им не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних, – это своего рода бегство от сомнений; она жаждет только деятельности прикладной это своего рода лш. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной природы искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.

Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом – очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.

Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо – Лавирона; с ним я недолго был знаком, он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии), в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.

Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Hotel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда пришло новое правительство, как Deus ex machina, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон (312) 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское Собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден par contumace⁹⁶. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы, – тут июльские дни, потом проскрипции, ссылки, синий террор. В это самое время однажды вечером сидел я на бульваре перед Тортони, в толпе всякой всячины и, как в Париже всегда бывает – в умеренную и неумеренную монархию, в республику и империю – все это общество впересыпку с шпионами. Вдруг подходит ко мне – не верю глазам – Лавирон.

– Здравствуйте! – говорит он.

– Что за сумасшествие? – отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. – Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?

– Если б вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь... я думал, думал, да и пошел гулять.

- Зачем же на бульвар?

- Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду.

- Куда?

- В Женеву, - так тяжело и так все надоело; мы идем навстречу страшным несчастьям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте прощайте, и да будет наша встреча повеселее.

В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил, вдруг объявлена война "за папу" против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. "Надобно вам инженера, артиллериста, солдата, я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками", - говорил он триумвирам, и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед; когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром. (313)

Французские газеты похоронили его рядом с ругательствами, указывая суд божий над преступным изменником отечества!

...Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.

Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку: он "во всех классах учится прилежно", и в этом вся его история; на страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, - много страдал; он купил право на протестантизм - Тридцатилетней войной, право на независимое, существование, то есть на бледное существование под надзором России, - борьбой с Наполеоном. Его освобождение в 1814-1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Lan-desvater⁹⁷, в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й парад (сорок четвертый был до революции), - тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гёте - в Веймаре.

Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Герман(314)ский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется в ее безусловном, то есть недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.

Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее - то, чему они покоряются, может быть и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому из видов, - это кривление душой за взятки.

Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так как верит в "почетный легион", в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen⁹⁸, к покою и, переходя из своего кабинета в Prunkzimmer⁹⁹ или спальню, жертвует халату, покою и кухне-свободную мысль свою. Немец большой

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru сибарит, этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, – такой же эпикурец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.

Все немецкие революционеры – большие космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität¹⁰⁰, и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под (315) начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.

При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн – там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.

"Воинственный" конвент, собиравшийся в павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache¹⁰¹ профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов, – рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt!¹⁰²) брал за живое только с точки зрения "Тейтчтума". Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые поползновения удержать неправоes стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.

Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гётевской комедии "Der Bürgergeneral"¹⁰³.

Не было города, "пятна" в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка "Комитета общественного спасения", со всеми главными деятелями, с холодным юношей Сен-Жюстом, с мрачными террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал, они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; (316) зато были и растрепанные Колло дэрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами¹⁰⁴, – это был Дантон, eine schwelgende Natur!¹⁰⁵

Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris¹⁰⁶ в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, заветренничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.

После дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:

– Революция – гроза, тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью... надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять "Гору" 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии, намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился терроризовать мою улицу. "Manner!¹⁰⁷ – говорю я моему отряду. – Под опасением военного суда, который при осадном положении может сейчас лишить вас жизни в случае ослушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бы перейти баррикаду, был захвачен и, под строгим прикрытием, приведен ко мне". Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его (317) пропускал, но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже...

- И, - сказал я с ужасом, - и она?

- И она их отводила домой, - прибавил гордо и самодовольно террорист.

К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.

Исправлявший должность министра внутренних дел, юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись "Vom andern Ufer"¹⁰⁸, писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрей-шерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр per interim¹⁰⁹ приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво... и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так прошло с неделю. Капп и я - мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской сто франков вперед за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то, что он не переписал еще и на десять.

Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.

Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, бюргеру и брудеру¹¹⁰ лучше было бы переписывать больше, а денег вперед (318) просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.

- Ну, так я отошлю ему деньги - mit Veracht-ung¹¹¹, - сказал министр,

- Что за вздор! - закричал один фрейшерлер.- Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель der Besitzenden¹¹². Согласны?

- Да, да, согласны, браво!

- Выпьем, - кричал оратор, - и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера,

- Да, да, не надобно кланяться.

Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.

Все эти смешные недостатки, вместе с особенной Plumpheit¹¹³ немцев, оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, то есть сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна, - а сторона пошлая, тяжелая постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим, грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение жовиального¹¹⁴ немца,

Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка; все, чего мы можем требовать от них, во имя животного братства, - это чтоб они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не лягаясь. В природе все достигает посильно, чего может"

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru складывается, как случится, и потом принимает родовое (319) plii15; воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое, но требовать от лошади бифтекса и от быков иноходи – все же нелепость.

Чтоб наглазно понять разницу двух противоположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек: я беру именно их потому, что они неподдельны в своей грубости.

Посмотрите, как парижские гамены смеются над каким-нибудь английским чудачком и как лондонские мальчишки издеваются над французом; в этом маленьком примере резко высказываются два противоположные типа двух европейских пород. Парижский гамен нагл и привязчив, он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит; во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает; есть слова, которых он никогда не употребляет, – грубостью его остановить трудно, если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. Еще надобно заметить, что французских мальчишек нужно чем-нибудь поразить: красным жилетом с синими полосками, кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку, вещами, делаемыми одними англичанами и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтоб обратить гонение или смех.

Острота лондонских мальчишек проще, она начинается с ржания при виде иностранца¹¹⁶, лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями; потом они кричат раз двадцать: "French pig! French dog!"¹¹⁷ Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и бляние удваиваются; если он идет прочь, мальчишки бегут за ним, – тогда остается ultima ratio:¹¹⁸ поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося. После этого мальчишки бегут сломя голову прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем. (320)

Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с gamins в их проделках против иностранца; в Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.

Во Франции есть щит, который тотчас останавливает самого задорного мальчика, – это бедность. Страна, которая не знает слова более оскорбительного, как слово beggar¹¹⁹, тем больше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее.

Один итальянский рефужье¹²⁰, бывший прежде офицером в австрийской кавалерии и без всяких средств, оставивший отечество после войны, ходил, когда пришла зимняя пора, в военной офицерской шинели. Это производило такой фурор на рынке, по которому он должен был проходить всякий день, что крики "кто ваш портной?", хохот и, наконец, подергивание за воротник дошли до того, что итальянец бросил свою шинель и ходил, дрогнув до костей, в одном сертуке. Эта грубость в уличной шутке, этот недостаток деликатности, такта в народе, с своей стороны, объясняет, отчего женщин нигде не бьют так часто и так больно, как в Англии¹²¹, отчего отец готов бесчестить дочь, муж – жену, юридически преследовать их.

Уличные грубости сильно оскорбляют сначала французов и итальянцев. Немец, напротив, принимает их с хохотом, отвечает таким же ругательством, перебранка продолжается, и он остается очень доволен. Обоим это кажется любезностью, милой шуткой. "Bloody dog!"¹²² – кричит ему, хрюкая, гордый британец. "Стерва Джон Буль!" – отвечает немец, и каждый идет своей дорогой.

Это обращение не ограничивается улицей – стоит только посмотреть на полемику Маркса, Гейнца, Руге et consorts¹²³, которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глаз наш (321) не привык видеть в печати такие выражения, такие обвинения, ничего не пощажено, ни личная честь, ни семейные дела, ни поверенные тайны.

У англичан грубость пропадает, поднимаясь на высоту таланта или аристократического воспитания; у немцев – никогда. Величайшие поэты Германии (за исключением Шиллера) впадают в самую неотесанную вульгарность.

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания, в нашем смысле слова. Немцев учат, и учат много, но совсем не воспитывают, даже в аристократии, в которой преобладают казарменные, юнкерские нравы. У них в житейских делах отсутствует эстетический орган.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Французы его утратили, точно так, как они утратили изящество своего языка; нынешний француз редко умеет написать письмо без конторских или адвокатских выражений – прилавок и казармы исказили их нравы.

В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, разделяющую итальянцев от tedesков¹²⁴ и в которую сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.

Отправляясь с Тесье-дю-Мотэ в 1852 году из Генуи в Лугано, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.

Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развеялся огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: "Furst Radetzky"¹²⁵. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит: австрийский или сардинский? Тесье, по версальскому суду, был осужден на in contumaciam¹²⁶ на депортацию¹²⁷, хотя (322) Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками месяцев шесть продержат в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пиэмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии, но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.

- Что же, - сказал Тесье, - ведь идти назад смешно.

- Ну, так вперед! - И мы взошли на палубу. Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями, зачем? - не знаю, на пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат спустили. В каюте, на стене, висели правила, в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если кто-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (kaiserlich-koniglichen)¹²⁸ полицейских уставов, тот имеет быть судим по австрийским законам. Or done!¹²⁹ носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум.

На палубе сидело несколько итальянцев: мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистью поглядывая на суетившихся во все стороны и без всякой нужды белобрсых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати, и вообще они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять, повернувшись спиной возле самого (323) носа, ломаться и показывать "мы, де, победители - наша взяла" следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.

Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привести к безобидному племенному различию надобно века времени.

После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением - ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной, натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки, одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью плескали с ложки суп в рот, другие ели с ножа - без хлеба и без соли - масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся - он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время, как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.

Для закуски молодой, долговязый, с светло-желтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял как следует навтыяжке и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать, но лишь только он произнес: "Ваше благородие". - "Молчать!" - закричал раздавленным голосом светло-желтый и "марш!" Потом, обращаясь к товарищам, как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас.

Когда мы вышли на землю, у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: "Viva la Repub(324)lica!", - а один итальянец, качая головой, повторял: "O, brutissimi, brutissimi!"¹³⁰

Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать -много веков.

ГЛАВА XXXVIII

Швейцария. - Джемс Фази и рефюжье. - Monte-Rosa.

Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить, живши в Женеве, внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом; он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление - подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застаёт его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и, прежде чем он спохватится, делается его взглядом.

В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями.

Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге (325) 53 и 54 годов я многому научился и на многое, из прошедшего и виденного прежде, иначе взглянул.

Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизаций, шедших ко дну, перетирая друг друга, середь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма - две страны остались как были. Одна за своим морем, другая за своими горами, обе средневековые республики, обе прочно вросшие в землю вековыми нравами.

Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией! Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее: с одной стороны, к трудному лавированию, с другой - к сложному поведению. В Англии собственно народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принадлежит известной среде; большинство народа вне движения; ее едва колеблет чартизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбрасывает за океан горючие вещества, по мере их накопления, и там они торжественно возрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо, переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык.

Совсем другое дело в Швейцарии: в ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы; она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, от пахаря и

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
работника, к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры – является, после бурь революции и сатурналий реакции, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде.

желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные земли в Европе – те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, (326) например, поддерживается рядом *coups d'Etat* с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности, – в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью.

Поведение федерального совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство; вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами, остальное составляет или дальнейшее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редко дельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всем и всему, наименее знает географию и всего больше заражен нестерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самую природой не увлекается вдаль: он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и, пока его не трогают на ней, он молчит.

Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами вовсе не швейцарское, по нем вопрос об эмигрантах – вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастью, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, ею легко народы доводят до положения хорошо бережного стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим.

Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числом, нецентрализованная Швейцария – гидра, Бриарей, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова? где ее сердце? Сверх того, без столицы нельзя (327) себе представить короля. Король в Швейцарии – такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва – горами, и так же соединенный ими, как она.

Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в том городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.

В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного *et alageal31* монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, – есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка, и все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти...

В Женеве, вскоре после моего приезда, давали обед ученикам всех школ перед наступающими каникулами. Джемс Фази (президент кантона) пригласил меня на этот пир. На поле, в Каруже, был разбит большой шатер. Совет и все кантональные знаменитости были налицо и обедали вместе с детьми. Часть граждан, состоявших на очереди, была созвана в мундирах и с ружьями, для почетной стражи. Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил получивших награды и предложил тост "за будущих граждан!" при громе музыки и пушечных выстрелах. После этого дети, по два в ряд, отправились за ним в поле, где были приготовлены разные забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, то есть отцы, дяди, старшие братья учеников, составили шпалеры, и, по мере того как глава колонны проходила, они делали "на-караул"... да! "на-караул" перед сыновьями-мальчишками, перед сиротами, воспитывающимися на счет кантона... Дети были почетные гости города – его "будущие граждане". Странно все это нашему брату, бывавшему на

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
институтских и иных торжественных актах. (328)

Странно и то, что каждый работник, каждый взрослый крестьянин, полковые в трактирах и их хозяева, жители гор и жители болот знают хорошо дела кантона, принимают в них участие, принадлежат к партиям. Язык их, степень образования очень меняются, и если женеvский работник напоминает иногда лионского клубиста, в то время как простой житель гор похож еще до сих пор на лица, окружающие шиллеровского Телля, то это нисколько не мешает тому и другому горячо заниматься общественными делами. Во Франции идут по городам отпрыски и разветвления политических и социальных обществ, члены их занимаются революционным вопросом и по дороге знают кое-что из настоящего управления. Но зато стоящие вне ассоциации, а в особенности крестьяне, ничего не знают и вовсе не интересуются ни делами Франции, ни делами департамента.

Наконец, и нам и французам бросается в глаза отсутствие всяких риз и облачений, всей оперной обстановки правительства. Президент кантона, президент Федерального собрания, статс-секретари (то есть министры), федеральные полковники ходят, как все простые смертные, в кафе, обедают за общим столом, рассуждают о делах, спорят с работниками, спорят при них между собой, и все это запивают вместе с другими иворнским вином да киршем.

С начала нашего знакомства с Джемсом Фази эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидел, что во всех законных случаях правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствие гардеробной важности, лампасов, плюмажей, швейцаров с булавой, вахмистров с усами и прочих шалостей и ненужностей монархической *mise en scene*¹³².

Осенью 1849 началось гонение выходцев, искавших убежища в Швейцарии; правительство было в слабых руках доктринеров, федеральные министры потеряли голову. Запуганная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона, высылала теперь, по приказу последнего, людей, искавших убежища, и делала ту же любезность для Австрии и Пруссии. Конечно, федеральное правительство (329) имело дело не с старым, толстым королем, не любившим крайних мер, а с людьми, у которых на руках еще не обсохла кровь и которые были в самом разгаре дикого преследования. Но чего же боялось федеральное собрание? Если бы оно умело смотреть дальше своих гор, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами соседние правительства. Ни одно из них в 1849 году не имело достаточной оседлости и нравственного сознания своей силы, чтоб начать войну. Стоило конфедерации показать зубы – и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагоприятное гонение людей, которым некуда было деться.

Долго некоторые кантоны, и в том числе Женеvский, противодействовали федеральному собранию, но, наконец, и Фази был увлечен, *volens-nolens*¹³³, в преследование выходцев.

Положение его было очень неприятно. Переход человека из заговорщиков в правительство, как бы он естествен ни был, имеет свои комические и досадные стороны. В сущности, надобно сказать, что не Фази перешел в правительство, а правительство перешло к Фази, тем не менее прежний конспиратор не всегда ладил с президентом кантона. Ему приходилось бить по своим или иногда явно не слушаться федеральных приказов, принимать такие меры, против которых он лет десять кряду ораторствовал. Он делал то и другое по капризу и этим возбуждал против себя обе стороны.

Фази – человек большой энергии и больших государственных талантов, но слишком француз, чтобы не любить крутые меры централизацию, власть. Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики. Перье и Лафит нашли, что "лучшая республика" – герцог Орлеанский: он сделался королем, а Фази бросился в крайнюю республиканскую оппозицию. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом, с обществом *du droits de* (330) *l'homme*¹³⁴ и с карбонарами, замешивается в савойскую экспедицию Маццини, издает журнал, который на французский манер задавили пенями...

Убедившись, наконец, что во Франции нечего делать, он вспоминает свою родину и переносит всю свою энергию, всю приобретенную ловкость политического деятеля,

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru публициста и конспиратора на развитие своих идей в Женевском кантоне.

Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство; прения, нападки и отпоры перешли из камер и журналов на площадь, и Фази явился главою возмущившейся части города. Пока он распоряжался и устанавливал своих вооруженных друзей, седой старик смотрел из окна и, военный по профессии, не мог вытерпеть, чтоб не дать совета, как следует поставить пушку или отряд. Фази послушался. Совет был дельный, – но кто же этот военный? Граф Остерман-Толстой, главнокомандующий союзными армиями под Кульмом, уехавший из России при воцарении Николая и живший потом почти всегда в Женеве.

Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен. Члены хотели арестовать его и с негодованием спрашивали: "Во имя кого он осмеливается так говорить?"

– Во имя женевского народа, которому надоело дурное управление ваше и который со мной, – при этом Фази отдернул сукно в дверях Совета. Толпа вооруженных людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрелить. Старые "патриции" и мирные кальвинисты смутились.

– Ступайте вон, пока есть время! – заметил Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сел за стол и написал декрет или плебисцит, объявлявший, что народ женевский, уничтожив прежнее правительство, собирается для новых выборов и для принятия нового демократического уложения, в ожидании чего народ (331) ввергает исполнительную власть Джемсу Фази. Это 18 брюмера – в пользу демократии и народа. Хотя он и выбрал сам себя диктатором, но выбор бесспорно был очень удачен.

С тех пор, то есть с 1846 года, он управляет Женевой. Так как по конституции президент избирается на два года и не может быть избран два раза кряду, то через два года женевцы назначают кого-нибудь из бледных поклонников Фази, и таким образом de facto¹³⁵ он остается президентом, к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве.

Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы – все двинулось быстро вперед; твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ: Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотически республиканские замашки; привыкнув к власти деспотическое рлі стало иной раз брать верх; к тому же события и идеи после 1848 застали Фази врасплох, он был смущен, с одной стороны, обойден – с другой. Ну, вот она, эта республика, о которой он мечтал с Год-фруа Каваньяком и Арман Каррелем... а что-то неладно. Бывший его товарищ Марраст, президент Национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме "за завтраком, в присутствии секретаря", и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить попов; когда экс-редактор "Националя" в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протезе Фази пошел еще дальше, сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знаться с старым товарищем и идет в Наполеоны. "Республика в опасности!" – а работники и передовые люди не занимаются ею, они всё толкуют о социализме. (332)

Так вот виноватый – и Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своего *Kulminationspunkta*, как говорят немцы, и пошел вниз.

Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу. Много поломал я копий с обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек не хочет убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться, зачем так хорошо играть свою роль даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новое учение, сложившееся вне их круга; тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru называть социализм в наших разговорах "клеопатрой", чтоб это слово не сердило его и не мешало своим звуком пониманию. Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий, - но об этом не здесь.

Раз, пришедши домой, я нашел записку Струве, - он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнца; Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось нового?

Фази не хотел, чтоб Струве издавал в Женеве свой "интернациональный" журнал; он боялся и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнцем напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зубов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится, я не знаю; довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет "семь бичей рода человеческого", было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал к нему квартального с приказом, чтоб он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбить Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно; мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная (то, что французы (333) называют *mesure de salut public*¹³⁶). Полицейский знал это, но, желая услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве.

Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтоб не сходить к другу Гейнцу, который, с своей стороны, получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнц жил недалеко, то Струве *ganz gemütlich*¹³⁷ отправился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях лишь только он поровнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ Федерального совета, требовал, чтоб он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу "семи-бичей", сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон.

Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в двенадцатом вечера, у *Pont des Bergues* я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.

- А, здравствуйте, что нового? - сказал он, увидав меня.

- Много, - отвечал я с изысканной сухостью.

- Что же такое?

- Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, *il ny a plus de securite dans les rues*¹³⁸ - я боюсь ходить...

-- А, это вы говорите насчет Струве... - отвечал Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал перерываться. - Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? Я, наконец, устал, я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений Федерального совета... (334)

- Право, - сказал я, улыбаясь, - которое вы предоставляете одному себе.

- Что же мне из-за всякого вырвавшегося из Бедлама подвергать опасности кантон, самого себя, и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо "спасибо" они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкнул его-это из рук вон! Не понимают, что чиновник (*magistral*), приходящий во имя закона, должен быть уважаем. Не правда ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
– Я не согласен, – сказал я ему, – и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный фурером или Друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще как враг, поддерживаемый силой?

– Я отроду не слыхивал таких вещей, – заметил фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров

– Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священнодействующими лицами – вещь совершенно монархическая...

– Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболепием, что у вас царь и закон – одно и то же, *cest parfaitement russe!*¹³⁹

– Да где же это понять, когда у вас уважение к закону значит уважение к квартальному или к городовому сержанту?

– А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов; я его видел на деле...

– И прекрасный отец семейства, – продолжал я, – да только ни мне, ни Струве дела нет до этого; мы с ним не знакомы, и явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти... (335)

– Да помилуйте, – заметил все больше и больше сердившийся фази, – что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали...

– Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать.

– Знаете, что я думаю? – он приостановился. – Я полагаю, что он просто русский агент.

– Господи, какой вздор! – сказал я, расхохотавшись.

– Как вздор?! – закричал фази еще громче. – Я вам говорю это серьезно!

Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женеvского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, он в сущности был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я, может, пропустил бы ему это поднятие голоса; но тут были свидетели, к тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве, и потому я стенторовским голосом отвечал ему:

– Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтоб все поверили?

Крик мой подействовал, фази сбавил голос, но зато, беспощадно разбивая свой кулак о перилы моста, он заметил:

– Да его дядя, Густав Струве, – русский поверенный в делах в Гамбурге.

– Это уж из "Волка и овцы". Я лучше пойду домой. Прощайте!

– В самом деле, лучше идти спать, чем спорить, а то еще мы поссоримся, заметил фази, принужденно улыбаясь.

Я пошел в *Hotel des Bergues*, фази с итальянцами – через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле растворились, и публика, состоявшая из гарсонов и туристов, слушала наше прение.

Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился, и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женеvская полиция поступила незаконно, и не только отказался послать его далее, но воротил назад. (336)

Можно себе представить бешенство Фази, когда он" на закуску нашего разговора, узнал о благополучном возвращении Струве. Побранившись с "тираном" письменно и словесно, Струве уехал с Гейнценом в Англию; там-то Гейнцен потребовал два миллиона голов и мирно уплыл с своим Пиладом в Америку, сначала с целью завести училище для молодых девиц, потом чтоб издавать в С.-Луисе "Пионера", журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать.

Дней пять после разговора у моста я встретился с Фази в cafe de la Poste.

- Что это вас не видать давно? - спросил он. - Неужели все сердитесь? Ну, уже эти мне дела о выходцах, признаюсь, такая обуза, что с ума можно сойти! Федеральный совет бомбардирует одной нотой за другой, а тут проклятый жекский супрефект нарочно живет, чтоб смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все за это - свои же сердятся. Вот теперь новое дело, и прескверное, я уже знаю, что меня будут бранить, а что мне делать?

Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал:

- Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство.

Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия фрейшер-лерами его городишка были ими похищены драгоценные вещи и, между прочим, редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бленкера, а так как до сведения его светлости дошло, что Бленкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей.

- Что скажете? - спросил торжествующим голосом Фази.

- Ничего. Мало ли что бывает в военное время.

- Что же, по-вашему, делать?

- Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве; что вам за дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бленкер не повесил его, а тут он еще ищет пожитки.

- Вы преопасный софист, - сказал Фази, - да только вы не подумали, что такие проделки бросают тень на нашу партию... этого так оставить невозможно. (337)

- Не знаю, зачем вы это принимаете к сердцу. Такие ли делаются ужасы на белом свете что касается партии и ее чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софист, - подумайте сами, неужели, давши ход этому делу, вы ей сделаете пользу? Оставьте без внимания донос герцога - его примут за клевету; а вот к слуху о нем прибавят, что вы посылали делать обыск, да еще, на беду, что-нибудь найдут, тогда трудно будет оправдываться Бленкеру и всей партии.

Фази откровенно удивлялся русскому беспорядку моих мнений.

Дело Бленкера кончилось как нельзя лучше. Его не было в Женеве; жена его, при появлении следственного судьи и полиции, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда они, и, услышав о сосуде сама отыскала его, - это был весьма простой серебряный потир. Его взяли молодые люди, бывшие в ополчении, и поднесли в память победы своему полковнику.

Фази впоследствии извинялся перед Бленкером, соглашаясь, что поторопился в этом деле. Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сбивать их - все это чисто французские недостатки, судопроизводство для них кровавая игра, вроде травли для испанцев. Прокурор как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уцелеет. В Англии нет ничего подобного: судья смотрит хладнокровно на подсудимого, не усердствует и почти доволен, когда присяжные не дают обвинительного приговора.

С своей стороны, рефужье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно, и к этому нельзя быть слишком строгим. Страсти, распахнувшиеся во время революционных движений, не угомонились от неудачи и, не имея другого выхода, выражались в строптивом беспокойстве духа. Людям этим смертельно хотелось

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru говорить именно в то время, когда приходилось замолкнуть отступить на второй план, стереться, сосредоточиться, а они, совсем напротив, старались не сходить со сцены и заявляли всеми средствами свое существование; они писали брошюры, писали в журналах, говорили на сходках, говорили в кафе, распространяли ложные новости и страшили глупые правительства близ(338)ким восстанием. Большая часть из них принадлежала к числу самых безопасных хористов революций, но уstraшенные правительства с обратным безумием верили их силе и, непривычные к свободной и смелой речи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религии, трона, семьи и требовали, чтоб федеральный совет изгнал этих страшных людей мятежа и разрушений.

Одна из первых мер, принятых швейцарским правительством, состояла в удалении от французской границы тех из рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту меру было очень противно для фази; он почти со всеми был лично знаком. Объяснив им приказ оставить Женеву, он старался не знать, кто уехал, кто нет. Неуехавшим еще надобно было отказаться от главных кафе, от Pont des Bergues, - этого-то они и не хотели уступить. Отсюда выходили смешные пансионские сцены, в которых участвовали бывшие народные представители, люди с седыми волосами, за сорок лет, известные писатели - с одной стороны, и с другой - президент свободного кантона да полицейские агенты рабских соседей Швейцарии.

Раз при мне жекский супрефект спросил ироническим тоном у фази:

- Monsieur le President, а что, такой-то в Женеве?

- Давным-давно нет, - отвечал отрывисто фази.

- Я очень рад, - заметил супрефект и пошел своей дорогой. А фази, неистово схватив меня за руку и судорожно указывая на человека, спокойно курившего сигару, сказал мне:

- Вот он! вот он! Пойдемте в другую сторону, чтоб не встретить этого разбойника. Это ад, да и только!

Я не мог удержаться от смеха. Разумеется, это был высланный рефюжье, и он-то прогуливался по Pont des Bergues, который в Женеве - то, что у нас Тверской бульвар.

Я прожил в Женеве до половины декабря. Гонения, начавшиеся втихомолку против меня русским правительством, заставили меня покинуть ее для того, чтоб ехать в Цюрих спасать именье моей матери, в которое запустил царственные когти "незабвенный" император.

Страшное это время было в моей жизни. Штиль (339) между двух ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый... Приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни; за них я обязан величественной швейцарской природе.

Даль от людей и изящная природа имеют удивительно целебное влияние. Я по опыту писал в "Поврежденном": "Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужны даль и горы, море и теплый, кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтоб он не зачерствел..."

От многого хотелось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные в средоточии политических смут и распрей, в постоянном раздражении, в виду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, осадили много горечи, тоски и устали на дне души. Ирония принимала другой характер. Грановский писал мне, прочитав "С того берега", писанное именно в то время:

"Книга твоя дошла до нас, я читал ее с радостью и с гордым чувством... но при всем том в ней есть что-то усталое, ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем; но то, что было в России живого и симпатического для всех в твоём таланте, как будто исчезло на чужой почве..." Сазонов, перечитав перед моим отъездом из Парижа, в 1849 году, начало моей повести "Долг прежде всего", писанной за два года, сказал мне: "Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь. У тебя прошел светлый смех и добродушная

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru шутка". Но мог ли человек пройти искусом 1848 и 1849 года и остаться тем же? Я сам чувствовал эту перемену. Только дома, без посторонних, находили иногда прежние минуты не "светлого смеха", а светлой грусти; вспоминая былое, наших друзей, вспоминая недавние картины римской жизни, возле кровати спящих детей, или глядя на их игру, душа настроивалась, как прежде, как некогда, - на нее веяло свежестью, молодой поэзией, полной кроткой гармонии, на сердце становилось хорошо, тихо, и под влиянием такого вечера легче жилось день, другой!

Минуты эти были не часты; дурное, невеселое рас(340)сеяние мешало им, число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая гостиная наша на Елисейских полях была полна чужими. Большею частью это были вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком... и зачем я был близок с ним!..

Я с радостью покидал Париж, но в Женеве мы очутились в том же обществе, только лица были другие и размеры теснее. В Швейцарии все тогда было ринуту в политику, все делилось на партии: tables d'hot и кофейные, часовщики и женщины. Исключительно политическое направление, особенно в том тяжелом затишье, которое всегда следует за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной сухостью и однообразным попреканием прошедшему. Оно похоже на летнее время в больших городах, где все заплыено, жарко, без воздуха, где, сквозь бледные деревья, просвечивают стены, отражающие солнце и теплые камни мостовой. Живой человек рвется на воздух, которым еще не дышала тьма тем, в котором не пахнет обглодками жизни и не слышно нестройного дребезжания, сального, гнилого запаха и беспрерывного стука.

Иногда мы в самом деле вырывались из Женевы, ездили по берегам Лемана, уезжали к подножию Монблана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тенями всю суету суетствий, освежая душу и тело холодным веянием своих вечных ледников.

Не знаю, желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают, они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают, но иной раз хорошо пожить под их тенью. К тому же по горам живет чистое и доброе племя, - племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни самобытной и независимой. Накипь цивилизации, ее ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят под ними, мало задевая их. Римский мир еще продолжается в Граубюндене, время крестьянских войн едва прошло где-нибудь в Аппенцеле. Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдется такой же здоровый кряж населения - но вообще его в Европе давно нет. (341)

На нашем северо-востоке видел я, впрочем, что-то подобнее. В Перми и Вятке мне удавалось встречать людей такого же закала, как на Альпах.

Утомленные беспрерывным, долгим подниманием шаг за шаг по горе, чтоб дать отдохнуть клячам, я и товарищ, ехавший со мной в Церматт, мы вошли в небольшой постоялый двор, помнится, повыше св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бедность своих запасов, пошарив там-сям, принесла бутылку кирша, сухой, как камень, хлеб (хлеб в горах-вещь не простая, его привозят на ослах с долин), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока и потом пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я есть не мог; но баранина, сыр и кирш были хороши. Хозяйка угощала нас, как званных гостей, с добродушным видом подкладывала кусочки и все извинялась. Проводники наши тоже поели и допили кирш. Уезжая, я спросил, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась в другую комнату, чтобы сообразить, и потом, сделав предисловие о дороговизне, трудном подвозе, она рискнула сказать пять франков.

- Как, - заметил я, - и с лошадьми? - Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

- Ну, и четырех будет довольно.

Когда меня везли из Перми в Вятку, я попросил в одной деревне, где меняли лошадей, квасу у женщины, сидевшей на бревне возле избы.

- Больно кисел, - отвечала она, - а вот я тебе вынесу браги, от праздника,

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
видишь, осталась.

Через минуту она принесла глиняный кувшин, заткнутый тряпкой, и ковш. Мы с жандармом напились вдоволь; отдавая ковш старухе, я подал ей гривенник или пятиалтынник, но она не взяла, приговаривая:

- Господь с тобой, что это с дорожного человека-то брать, да и едешь ты того, - она посмотрела на жандарма.

- Да за что же, тетушка, мы твою бражку-то даром пили, возьми детушкам на пряники.

- Нет, кормилец, ты в этом не сомневайся, а есть лишние деньги, подай их нящему али богу поставь свечку. (342)

Другой подобный случай был со мной на Великой-реке, близ Вятки. Я ездил смотреть туда оригинальную процессию, - как икону Николая Хлыновского носят туда в гости. На обратном пути я зашел с ящиком в избу, где он брал овес: хозяева и человека три бого-мольцев собирались обедать; сильно пахло щами, попросил и я себе. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлеба и огромную солонку с высокой спинкой. Поевши, я дал хозяину четвертак. Он посмотрел на меня, почесал затылок и сказал:

- Оно, видишь, неладно... Что же ты наел гроша на два, а даешь четвертак... Оно мне взять-то и не приходится: и перед богом грешно и перед людьми совестно.

Помнится, я где-то упоминал об обычае пермских мужиков выставлять на ночь за окно кусок хлеба, квас или молоко на тот случай, что если несчастный, то есть сосланный, проберется из Сибири да побоится постучать, так чтоб подкрепился, не делая шума. Подобное я нашел на горах Швейцарии: только тут это делается, за неимением возле Сибири, просто для путников. На довольно больших высотах, там, где уже жизнь редеет, где гранит уже выказывается, как череп у человека, начинающего плешиветь, и резкий, холодный ветер поддувает на сухую, аптекарскую растительность, -там попадались мне хижинки пустые, но с незапертыми дверями, чтобы путник, сбившийся с дороги или загнанный непогодой, мог найти приют и без хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тут, а на столе-сыр, хлеб или козье молоко. Иные, поевши, кладут на стол какую-нибудь копейку, другие ничего, но, видно, никто не крадет. Конечно, посторонних прохожих бывает очень мало, но тем не менее эти отпертые двери удивляют городской глаз.

Разговорившись о горах и вершинах, доскажу мое путешествие на Монте-Розу. Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?

От старушки, которая совестилась взять пять франков за корм четырех человек и двух лошадей, со включением целой бутылки кирша, мы до самого вечера поднимались по узкой нарезке, местами не шире метра, до Церматта; привычные лошади шли шагом и осторожно, выбирая место, куда поставить копыто по ска(343)листой, неровной тропинке. Проводники беспрестанно напоминали нам, чтоб не править, а пускать лошадь идти, как она знает. С одной стороны был крутой обрыв тысячи в три футов и больше. Внизу, на его дне, шумел и несся Вееп, с какой-то безумной поспешностью, стараясь найти больше открытое русло и вырваться из сжатой каменной постели. Его пенящаяся, клубящаяся поверхность была местами видна; по гористым берегам росли целые сосновые леса, казавшиеся мохом с высоты, по которой мы двигались. С другой стороны - голая, скалистая высь, местами нависшая над головами. Часы целые едешь, едешь... стучат подковы о камень, срывается нога лошади, ревет Вееп, и все такие же скалы с одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающийся обрыв - с другой; это наводит тоску, раздражительную усталость... Я не хотел бы часто повторять этого пути.

Церматт - последнее местечко, где живут несколько семей вместе; оно стоит, как в котле, - громады гор окружают его. Один из домохозяев принимает у себя редких путешественников; мы застали у него шотландца, геолога. Пока нам собирали ужин, сделалось совершенно темно; близость гор удваивала мрак. Часу в одиннадцатом хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала нам:

- Ведь это копыта, да и крик проводников слышен... Охота же в ночную пору ехать по такой дороге.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Стук копыт медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла с ним в сени, я пошел за ней: что-то стало отделяться из черной мглы, какие-то фигуры показались на полосе фонарного света, и, наконец, два всадника подъехали к сеним. На одной лошади сидела высокая, средних лет женщина, на другой мальчик лет четырнадцати. Дама покойно сошла с лошади, будто она воротилась с прогулки в Гайд-Парке, и вошла в общую комнату. Шотландца она уже где-то встретила и потому тотчас стала с ним говорить. Спросив себе поесть, она послала сына узнать от проводников, сколько времени лошадям нужно отдыхать. Они сказали, что двух часов довольно.

- Неужели вы едете, не дождавись дня? - спросил шотландец. - Зги не видать, и притом же вам теперь придется спускаться по новой дороге. (344)

- Я уже так разочла время.

Через два часа англичанка с сыном стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На рассвете мы взяли третьего проводника, гербариста, который знал все тропинки и удивительно насвистывал альпийские мотивы, и стали взбираться на одну из ближних высот, поднимаясь к ледяному морю и Мон-Сервину.

Сначала седой туман закрывал все и мочил нас мелким дождем, мы поднимались, он понижался; вскоре сделалось как-то резко светло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго где-то описывает, "что слышно на горе"; не высока, должно быть, была его гора; меня поразило, совсем напротив, совершенное отсутствие звука: решительно ничего не слышать, кроме легкого, перемежающегося грохота от перекатывающихся лавин, и то изредка... Вообще же тишина мертвая, прозрачная, - я нарочно употребляю это слово, - и необычайная разреженность воздуха делают видимой, звучной эту совершенную немоту, этот беспробудный, минеральный, стихийный сон допотопных времен.

Шумит жизнь, - но все живое внизу и покрыто облаками; тут уж нет и растений, один мох седой, жесткий попадает кое-где на камнях. Еще вверх еще свежее стало, начинается нетающий иней; тут рубеж, тут ничего не бывает, дальше ходит только любопытнейший из всех зверей, чтоб на минуту заглянуть в эти степи пустоты, посмотреть на эти пограничные, выдавшиеся пределы планеты, и скорее спуститься в свою среду, исполненную сует, - но где он дома.

Мы остановились перед ледяным снежным морем, расстилавшимся между нами и Мон-Сервином; окаймленное грядою гор, облитых солнцем, оно само, белое до ослепительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантского Колизея. Местами изрытое ветрами, волнистое, оно будто застыло в самую минуту движения; изгибы валов замерзли, не успев выправиться. (345)

Я сошел с лошади и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волнами к берегу... Немая, неподвижная белизна, без всякого предела... легкий ветер приподнимал небольшую белую пыль, уносил ее, вертел... она падала, и все снова приходило в покой, да раза два лавины, оторвавшись с глухим раскатом, скатывались вдаль, цепляясь за утесы, разбиваясь о них и оставляя по себе облако снега...

Странно чувствует себя человек в этой раме - гостем, лишним, посторонним, и, с другой стороны, свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становится бел и чист внутри... серьезен и полон какого-то благочестив!

.....
Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси и считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..

Да, жизнь иногда имеет свои мелодраматические выходы, свои coups de theatre141, очень натянутые.

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

Ib PIANI0142

После июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в побежденных, в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она должна была быть побежденной.

У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.

Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она (346) везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разума, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была ли еще печальнее. Они в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то, что невеста обманула.

Несчастья, праздность и нужда, внесли нетерпимость, упрямство, раздражение... эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество-начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех - цех выходцев - складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он "утопает в посте и наслаждается лишениями", так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала... Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.

Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.

...Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена, нехотя, дымаясь и треща, горели в камине, все были заняты укладкой, я сидел один-одинехонек: женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но (347) я не мог и, вместо молитвы, написал проклятие - мой "Эпилог к 1849".

"Разочарование, усталъ, Vlasirtheit!"¹⁴³ - сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталъ!.. Разочарование - слово битое, пошрое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы - ни на что. Давно надоели нам все эти высшие, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия, - в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.

Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтоб притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух разных возрастов, двух разных воспитаний и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся.

Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. За

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru римским разрывом шло христианство, за христианством – вера в цивилизацию, в человечество. Либерализм составляет последнюю религию, но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея – политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготе; болезненное сознание этого выражается иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.

Иронией высказывается досада, что истина логическая – не одно и то же с истиной исторической, что, (348) сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что, сверх своего разума, она имеет свой роман.

Разочарованья¹⁴⁴, в нашем смысле слова, до революции не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. Я уже не говорю о великомученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жак; но разве папа Вольтер, благословлявший франклинова внука во имя бога и свободы, не был пиетист своей человеческой религией?

Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового пасти стада людские. Они представляли высшую мысль своего времени, его высшее, но не общее Сознание, не мысль всех.

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие – убеждение, но для убеждения недостаточно правоты, в этом вся ошибка, а необходимо еще одно – мозговое равенство!

Пока длилась отчаянная борьба, при звуках святой песни гугенотов и святой "Марсельезы", пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но, наконец, тяжелое здание феодальной монархии рухнулось, долго ломали стены, отбивали замки... еще удар – еще пролом сделан, храбрые вперед, ворота отперты – и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий *populus romanus*. *Davus sum, non Aedipus!*¹⁴⁵ Неотразимая волна грязи залила все. В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сиз был больше прав, чем думал, говоря, что мещане "все".

Мещане не были произведены революцией, они были готовы с своими преданиями и нравами, чуждыми на другой лад революционной идеи. Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось в мещанство.

Несколько человек каждого поколения оставались, вопреки событиям, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а может, астеки, несут несправедливую казнь за монополию исключительного развития, за мозговое превосходство сытых каст, каст досужных, имевших время работать не одними мышцами.

Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость этого факта. Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти, как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития, пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль на конце-это заключение; все начинается тупостью новорожденного; возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внешних и внутренних влияний, отклонений, остановок. У одного вода размягчит мозг, другой, падая, сплюснет его, оба останутся идиотами, третий не упадет, не умрет скарлатиной – и делается поэтом, военачальником, бандитом, судьей. Мы вообще в природе, в истории и в жизни всего больше знаем удачи и успехи; мы теперь только начинаем чувствовать, что не все так хорошо подтасовано, как казалось, потому что мы сами – неудача, проигранная карта.

Сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами, мы готовы, (350) *par dedit*146, верить в разумное (то есть намеренное) зло, как верили в разумное добро—это последняя дань, которую мы платим идеализму.

Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется; ее почти нет в Новом свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей Там, сверх того, нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они поднимаются, опускаются с итогом *credit* и *debet* каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода. Кто может совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Ионатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском разложении.

Те, которые не могут, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американский возраст.

Большой беды в этом нет, нас немного, и мы скоро вырем!

Но как люди так развиваются вон из своей среды?..

Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в "The Dream"; представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных: одного дряхлого, другого по колена в топком болоте, раздавленного, как Кариатида, постоянно натянутые мышцы которой не дают ни капли крови мозгу. Если б он умел приладиться к той жизни, он, вместо того чтоб умереть за тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Рос-селем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного(351), что он с своим Гарольдом говорит кораблю:

"Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины".

Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года;

от них нельзя было спастись ни в Равенне, ни в Диодати. Байрон не мог удовлетвориться по-немецки теориями *sub specie aeternitatis*147, ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился, как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилули.

Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда преклонить голову.

Реалист Гёте, так же как романтик Шиллер этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда "дух отрицанья" является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен; насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему *sie ist gerettet*148. Не таков Люцифер в "Каине"; это печальный ангел тьмы, на его лбу тускло мерцает звезда горькой думы, полного внутреннего распада, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смежит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни брильянтов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступленью — той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, — ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти.

Ни Каин, ни Манфред, ни Дон Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого "нравоучения". Может, с точки зрения драматического

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru искусства, это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпиграф Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это - "The Darkkness"¹⁴⁹; вот результат жизни, начавшейся со "Сна". Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные... корабль догнивает-смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, то есть если новый мир дойдет до того, что сумеет считать до четырех.

Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его опохмелем, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу; но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может, и оба, и тогда - ну, тогда история с своим мормонизмом начнет новую беременность... E sempre bene¹⁵⁰, господа!

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на горах трупов ---ей все равно, она продолжает свое или так продолжает, что попало - десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили прогрессу рифа.

Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит ваши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль западная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие-что же с этим делать?

Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими, и, несмотря на то, что каждое событие, каждая встреча, (353) каждое столкновение, лицо - наперерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал выхода.

Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что выхода нет, и гордо высказал это.

Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня; я всячески хотел бежать от них... я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери, останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату - к смирению перед истиной, к самоотверженному принятию ее.

...Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом.

Так уж с общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

II POST SCRIPTUM

Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим, другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину - даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, то есть мы не знаем ее, а судим а *livre ouvert*¹⁵¹, по книжкам и картинкам, так, как дети судят по "Orbis pictus" о настоящем мире, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами я что где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами. (354)

Наше классическое незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.

Во-первых, нам известен только один верхний, образованный слой Европы, который накрывает собой тяжелый фундамент народной жизни, сложившийся веками, выведенный инстинктом, по законам, мало известным в самой Европе. Западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией. Европейские государства спаяны из двух народов, особенности которых поддерживаются совершенно разными воспитаниями. Восточного единства, вследствие которого турок, подающий чубук, и турок великий визирь похожи друг на друга, здесь нет. Массы сельского населения, после религиозных войн и крестьянских восстаний, не принимали никакого действительного участия в событиях; они ими увлекались направо или налево, как нивы, – не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его.

В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, мещанских. Они составляют целое, то есть замкнутое, оконченное в себе воззрение на жизнь, с своими преданиями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью низшего порядка.

Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира: господа заменились хозяевами. Купец сам по себе – лицо стертое, (355) промежуточное; посредник между одним, который производит, и другим, который потребляет, он представляет нечто вроде дороги, повозки, средства.

Рыцарь был больше он сам, больше лицо, и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он в сущности и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное – товар, дело, вещь, главное собственность.

Рыцарь был страшная невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиетист, но он был во всем открыт и откровенен; к тому же он всегда готов был лечь костью за то, что считал правым; у него было свое нравственное уложение, свой кодекс чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты собственного уважения или уважения равных.

Купец – человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении;

расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним – хитростью. Его предки, средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить: они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку зарывали деньги в землю. Все это естественно перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского, называемого средним состоянием.

Пока оно было в несчастном положении и соединялось с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого стало ненадолго, и Санчо Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его природы взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменялось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, пар(356)ки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех (то есть для всех имеющих деньги).

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были потрясены, но нового сознания настоящих отношений между людьми не было раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека, чего гут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, *Salus populi* и *chacun pour soi*¹⁵², Брут и Фома Кемпийский, евангелие и Бентам, прихо-дорасходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди нетрудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек *de facto* сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки – редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую англиканскую церковь – *Old Shop*¹⁵³.

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой – неимущие мещане, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть, с одной стороны, скупость, (357) с другой – зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений, – она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Парламентское правление, не так, как оно истекает из народных основ англо-саксонского *Common law*¹⁵⁴, а так, как оно сложилось в государственный закон – самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?

Но в этом-то сохранении вида и главное дело.

Во всем современно европейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой – выставка и *eta-lage*¹⁵⁵. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться, вместо того чтоб быть, вести себя прилично, вместо того чтоб вести себя хорошо, хранить внешний *Respectabilitat*¹⁵⁶ вместе внутреннего достоинства.

В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования. Кто из нас не останавливался, краснея за неведение западного общества (я здесь не говорю об ученых, а о людях, составляющих то, что называется обществом) ? Образования теоретического, серьезного быть не может; оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от дела. Так как все, лежащее вне торговых оборотов и "эксплуатации" своего общественного положения, не существенно в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограничено. Оттого происходит (358) та нелепость и тяжесть ума, которую мы видим в мещанах всякий раз, как им приходится съезжать с битой и торной дороги. Вообще хитрость и лицемерие далеко не так умны и дальновидны, как воображают; их диаметр беден и плаванье мелко.

Англичане это знают и потому не оставляют битые колеи и выносят не только тяжелые, но, хуже того, смешные неудобства своего готизма, боясь всякой перемены.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Французские мещане не были так осторожны и со всем своим лукавством и двоедушием – оборвались в империю.

Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка всеобщую подачу голосов. Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прикидывать на счетах и метить булавками.

И что же они подвергнули суду всех голосов при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину пойдет ли тот спрашивать мнение встречного, поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?

Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочились.

Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, – забравший все в руки, то есть и мещан, которые воображали по Старой памяти, что он будет царствовать, а они – править.

То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонне на людях, как буржуазия.

Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал, с своей (359) стороны, еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорей их идеалом.

Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, то есть обязывает, *per fas et nefas*¹⁵⁷, иметь собственность. Его евангелие коротко: "Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память".

Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, то есть людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон-Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства.

Из протестантизма они сделали свою религию, – религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, – религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, ее оставил. В Англии чернь всего менее ходит в церковь.

Из революции они хотели сделать свою республику, но она ускользнула из-под их пальца так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, то есть без места в настоящем, но с надеждой на *instaurationem magnam*¹⁵⁸.

Реформация и революция были сами до того испуганы пустотой мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скуч(360)ном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цивизме республиканского формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других – что это свобода.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наиболее развито, там, где оно вернее своим началом, где оно богаче, образованнее, то есть промышленное. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции... И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.

Эти отрывки, напечатанные в IV книге "Полярной звезды", оканчивались следующим посвящением, писанным до приезда Огарева в Лондон и до смерти Грановского:

...Прими сей череп – он

Принадлежит тебе по праву.

А. Пушкин.

На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятным, усеченным, может ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после...

Теперь расстанемся, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шум, долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них искать своих и отучился – не от людей, а от близости с ними.

Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере отрады слушающему, и станется жаль, зачем все это должно заглухнуть и пропасть в душе, как взгляд рассеивается и (361) пропадает в пустой дали... но и это скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.

К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год, как бывало, выдаемся каждый день, и ничего не переменилось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер – и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой почвы – кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.

Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб – но вы, друзья, примите его радушно; этот труд помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам, с ним я вхожу не весело, но спокойно (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму:

"Lieta no... ta sicura!"159 – говорит Леопарди о смерти в своем "Ruysch e Te sui mimmie".

Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня, – примите же сей череп – он вам принадлежит по праву.

Isle of Wight, Ventnor 1 октября 1855 г

ГЛАВА XXXIX

Деньги и. полиция – Император Джеме Ротшильд и банкир Николай Романов. Полиция и деньги.

В декабре .1849 года я узнал, что доверенность на залог моего имени, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал моей матери наложено запрещение. Терять времени было нечего, я, как уже сказал в прошлой главе, бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери.

Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги – независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись, в чем были, от политических кораблекрушений. (362) Поэтому я считал справедливым и

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства.

Я и то чуть не потерял всего. Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался, очертя голову, в политические движения и предоставил на волю божью будущность семьи, – может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое имение в то время, как вспрынувшая Италия кипела пред моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях, а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть "вице-губернатором", за "обер-прокурорским столом" и говорил бы своему секретарю "ты", а своему министру "ваше высокопревосходительство!"

Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Беднее было бы сердце и память, если б я пропустил те светлые мгновения веры и восторженности! Чем было бы выкуплено для меня лишение их? да и что для меня – чем было бы выкуплено для той, сломленная жизнь которой была потом одним страданием, окончившимся могилой? Как горько упрекала бы меня совесть, что я из предусмотрительности украл у нее чуть ли не последние минуты невозмутимого счастья! А потом, ведь главное я все же сделал – спас почти все достояние, за исключением костромского имения.

После июньских дней мое положение становилось опаснее; я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разменять мне два билета московской сохранный казны. Дела тогда, разумеется, не шли, курс был прескверный; условия его были невыгодны, но я тотчас согласился и имел удовольствие видеть легкую улыбку сожаления на губах Ротшильда – он меня принял за бесчетного *prince russe*, задолжавшего в Париже, и потому стал называть "monsieur le comte"160. (363)

По первым билетам деньги немедленно были уплачены; по следующим, на гораздо значительнейшую сумму, уплата хотя и была сделана, но корреспондент Ротшильда извещал его, что на мой капитал наложено запрещение, – по счастью, его не было больше.

Таким образом, я очутился в Париже с большой суммой денег, середь самого смутного времени, без опытности и знания, что с ними делать. И между тем все уладилось довольно хорошо. Вообще, чем меньше страстности в финансовых делах, беспокойствия и тревоги, тем они легче удаются. Состояния рушатся так же часто у жадных стяжателей и финансовых трусов, как у мотов.

По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг, несколько французских и небольшой дом на улице Амстердам, занимаемый Гаврской гостиницей.

Один из первых революционных шагов моих, развязавших меня с Россией, погрузил меня в почтенное сословие консервативных тунеядцев, познакомил с банкирами и нотариусами, приучил заглядывать в биржевой курс – словом, сделал меня западным *gentier*. Разрыв современного человека со средой, в которой он живет, вносит страшный сумбур в частное поведение. Мы в самой середине двух, мешающих друг другу, потоков; нас бросает, и будет еще долго бросать то в ту, то в другую сторону, до тех пор пока тот или другой окончательно не сломит, и поток, еще беспокойный и бурный, но уже текущий в одну сторону, не облегчит пловца, то есть не унесет его с собой.

Счастлив тот, кто до этого умеет так лавировать, что, уступая волнам и качаясь, все же плывет в свою сторону!

При покупке дома я имел случай поближе взглянуть в деловой и буржуазный мир Франции. Бюрократический формализм при совершении купчей не уступит нашему. Старик нотариус прочел мне несколько тетрадей, акт о прочтении их, *main-levée*161, потом настоящий акт – из всего составила целая книга *in folio*162. В последний торг наш о цене и расходах хозяин дома сказал, что он сделает уступку и возьмет на себя весьма значительные (364) расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понял его, потому что с самого начала объявил, что покупаю на чистые деньги. Нотариус объяснил мне, что деньги должны остаться у него по крайней мере три месяца, в продолжение которых сделается публикация и вызовутся все кредиторы, имеющие какие-нибудь права на

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru дом. Дом был заложен в семьдесят тысяч, но он мог быть еще заложен и в другие руки. Через три месяца, по собрании справок, выдается покупщику purge hypothécaire 163, а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяин уверял, что у него нет других долгов. Нотариус подтверждал это.

- Честное слово, - сказал я ему, - и вашу руку - у вас других долгов нет, которые касались бы дома?

- Охотно даю его.

- В таком случае я согласен и явлюсь сюда завтра с чеком Ротшильда.

Когда я на другой день приехал к Ротшильду, его секретарь всплеснул руками;

- Они вас надуют! как это возможно! Мы остановим, если хотите, продажу. Это неслыханное дело - покупать у незнакомого на таких условиях.

- Хотите, я пошлю с вами кого-нибудь рассмотреть это дело? - спросил сам барон Джеме.

Такую роль недоросля мне не хотелось играть, я сказал, что дал слово, и взял чек на всю сумму. Когда я приехал к нотариусу, там, сверх свидетелей, был еще кредитор, приехавший получить свои семьдесят тысяч франков. Купчую перечитали, мы подписались, нотариус поздравил меня парижским домохозяином, - оставалось вручить чек.

- Какая досада, - сказал хозяин, взявши его из моих рук, - я забыл вас попросить привезти два чека, как я теперь отделию семьдесят тысяч?

- Нет ничего легче, съездите к Ротшильду, вам дадут два или, еще проще, съездите в банк.

- Пожалуй, я съезжу, - сказал кредитор. Хозяин поморщился и ответил, что это его дело, что он поедет. (365)

Кредитор нахмурился. Нотариус добродушно предложил им ехать вместе.

Едва удерживаясь от смеха, я им сказал:

- Вот ваша записка, отдайте мне чек, я съезжу и разменяю его.

- Вы нас бесконечно обяжете, - сказали они, вздохнув от радости; и я поехал.

Через четыре месяца purge hypothécaire была мне прислана, и я выиграл тысячу десять франков за мое опрометчивое доверие.

После 13 июня 1849 года префект полиции Ребилю что-то донес на меня; вероятно, вследствие его доноса и были взяты петербургским правительством странные меры против моего имени. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж.

Мы отправились через Невшатель и Безансон. Путешествие наше началось с того, что в Берне я забыл на почтовом дворе свою шинель; так как на мне был теплый пальто и теплые калоши, то я и не воротился за ней. До гор все шло хорошо, но в горах нас встретил снег по колени, градусов восемь мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижанс не мог идти, пассажиров рассажали по два, по три в небольшие пошевни. Я не помню, чтоб я когда-нибудь страдал столько от холода, как в эту ночь. Ногам было просто больно, я зарыл их в солому, потом почтальон дал мне какой-то воротник, но и это мало помогло. На третьей станции я купил у крестьянки ее шаль франков за 15 и завернулся в нее;

но это было уже на съезде, и с каждой милей становилось теплее.

Дорога эта великолепно хороша с французской стороны; обширный - амфитеатр громадных и совершенно непохожих друг на друга очертаниями гор провожает до самого Безансона; кое-где на скалах виднеются остатки укрепленных рыцарских замков. В этой природе есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
нее-то глядя, рос и складывался крестьянский мальчик, потомок старого сельского рода - Пьер-Жозеф Прудон. И действительно, о нем можно сказать, только в другом смысле, сказанное поэтом о флорентийцах:

E tiene ancor del monte et del macigno!164 (366)

Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спросить его, в чем дело. Нессельродс отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным,

Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингис-хана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай.

- Для меня, - сказал я ему, - мало удивительного в том, что Николай, в наказание мне, хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку;

но я не мог себе представить, чтоб ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери;

подписываясь на них, она их передала предъявителю (au porteur), но с тех пор, как вы расписались на них, Этот porteur-вы165, и вам-то нагло отвечают: "Деньги ваши, но барин платить не велел".

Речь моя удалась. Ротшильд стал сердиться и, ходя по комнате, говорил:

- Нет, я с собой шутить не позволю, я сделаю процесс ломбарду, я потребую категорического ответа у министра финансов!

"Ну, - подумал я, - этого уже Вронченко не поймет. Хорошо еще "конфиденциального", а то "категорического".

- Вот вам образчик, как самодержавие, на которое так надеется реакция, фамильярно и sans gene166 распоряжается с собственностью. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луи-блановского.

- Я подумаю, - сказал Ротшильд, - что делать. Так нельзя оставить этого.

Дни через три после этого разговора я встретил Ротшильда на бульваре. (367)

- Кстати, - сказал он мне, останавливая меня, - я вчера говорил о вашем деле с Киселевым167. Я вам должен сказать, вы меня извините, он очень невыгодного мнения о вас и вряд ли сделает что-нибудь в вашу пользу.

- Вы с ним часто видитесь?

- Иногда, на вечерах.

- Сделайте одолжение, скажите ему, что вы сегодня виделись со мной и что я самого дурного мнения о нем, но что с тем вместе никак не думаю, чтоб за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильд расхохотался; он, кажется, с этих пор стал догадываться, что я не prince russe, и уже называл меня бароном; но это, я думаю, он для того поднимал меня, чтоб сделать достойным разговаривать с ним.

На другой день он прислал за мной; я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру и прибавил:

- Вот наш проект письма, садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы им; если хотите что прибавить или изменить, мы сейчас сделаем. А мне позвольте продолжать мои занятия.

Сначала я осмотрелся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входил один биржевой агент за другим, громко говоря цифру; Ротшильд, продолжая читать,

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru бормотал не поднимая глаз: "да, - нет, - хорошо, - пожалуй, довольно", и цифра уходила. В комнате были разные господа, рядовые капиталисты, члены Народного собрания, два-три истощенных туриста с молодыми усами на старых щеках, эти вечные лица, пьющие на . водах - вино, представляющиеся ко дворам, слабые и лимфатические отпрыски, которыми иссякают аристократические роды и которые туда же суются от карточной игры к биржевой. Все они говорили между собой вполголоса. Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, всё миллионы или по крайней мере сотни тысяч.

- Ну, что, - сказал он, обращаясь ко мне, - довольны?

- Совершенно, - отвечал я. (368)

Письмо было превосходно, резко, настойчиво, как следует - когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтоб тот немедленно требовал аудиенции у, Нессельроде и у министра финансов, чтоб он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения - почему уплата остановлена, что, в случае отказа, он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших Проволочек, он должен будет дать гласность этому делу - через журналы для предупреждения других капиталистов. Письмо это он рекомендовал Гассеру показать Нессельроде.

- Очень рад... но, - сказал он, - держа перо в руке и с каким-то простодушием глядя прямо мне в глаза, - но, любезный барон, неужели вы думаете, что я подпишу это письмо, которое au bout du compte¹⁶⁸ может меня поссорить с Россией за полпроцента комиссии?

Я молчал.

- Во-первых, - продолжал он, - у Гассера будут расходы, у вас даром ничего не делают, - это, разумеется, должно пасть на ваш счет; сверх того... сколько предлагаете вы?

- Мне кажется, - сказал я, - что вам бы следовало предложить, а мне согласиться.

- Ну, пять, что ли? Это немного.

- Позвольте подумать...

Мне хотелось просто рассчитать.

- Сколько хотите... Впрочем, - прибавил он с мефистофелевской иронией в лице, - вы можете это дело обделать даром - права вашей матушки неоспоримы, она виртембергская подданная, адресуйтесь в Штутгарт - министр иностранных дел обязан заступиться за нее и выхлопотать уплату. Я, по правде сказать, буду очень рад свалить с своих плеч это неприятное дело.

Нас прервали. Я вышел в бюро, пораженный всей античной простотой его взгляда и его вопроса. Если б он просил 10-15 процентов, то я и тогда бы согласился. (369) Его помощь была мне необходима, он это так хорошо знал, что даже подтрунил насчет обруселого виртемберга. Но, снова руководствуясь той отечественной политической экономией, что за какое бы пространство извозчик ни спросил двугривенный - все же попробовать предложить ему пятиалтынный, я, без всякого достаточного основания, сказал Шомбургу, что полагаю, что один процент можно сбавить. Шомбург обещал сказать и просил зайти через полчаса.

Когда через полчаса я входил на лестницу Зимнего дворца финансов в Rue Lafitte, с нее сходил соперник Николая.

- Мне Шомбург говорил, - сказала его величество, милостиво улыбаясь и высочайше протягивая собственную августейшую руку свою, - письмо подписано и послано. Вы увидите, как они повернутся, я им покажу, как со мной шутить.

"Только не за полпроцента", - подумал я и хотел стать на колени и принести, сверх благодарности, верноподданническую присягу, но ограничился тем, что

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
сказал:

- Если вы совершенно уверены, велите мне открыть кредит хоть на половину всей суммы.

- С удовольствием, - отвечал государь император и проследовал в улицу Лафит.

Я откланялся его величеству и, пользуясь близостью, пошел в Maison d'Or.

Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов, устрешенный конкурсом и опубликованием в "Ведомостях", уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению.

С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая, я был для него нечто вроде Маренго или Аустерлица, и он несколько раз рассказывал при мне подробности дела, слегка улыбаясь, но великодушно щадя побитого противника.

В продолжение моего процесса я жил в Отель Мирабо, Rue de la Paix. хлопоты по этому делу заняли (370) около полугода. В апреле месяце, одним утром, говорят мне, что какой-то господин дожидается меня в зале и хочет непременно видеть. Я вышел: в зале стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

- Комиссар полиции Тюльерийского квартала, такой-то.

- Очень рад.

- Позвольте мне прочесть вам декрет министра внутренних дел, сообщенный мне префектом полиции и касающийся вас.

- Сделайте одолжение, вот стул. "Мы, префект полиции169:

Взяв в соображение 7 пункт закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 г., дающий министру внутренних дел право высылать (expulser) из Франции всякого иностранца, присутствие которого во Франции может возмутить порядок и быть опасным общественному спокойствию, и основываясь на министерском циркуляре 3 января 1850 года,

решаем, что следует:

Называемый (le N-e, то есть потме, но это не значит "вышеупомянутый", потому что прежде обо мне не говорится, это только безграмотная попытка как можно грубее обозначить человека) Герцен, Александр, 40 лет (два года прибавили), русский подданный, живущий там-то, обязан оставить немедленно Париж по объявлении сего и в наискорейшем времени выехать из пределов Франции.

Воспрещается ему впредь возвращаться под опасением наказаний, положенных 8 пунктом того же закона тюремное заключение от одного месяца до шести и денежный штраф).

Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений.

Сделано (Fait) в Париже, 16 апреля 1850.

Префект полиции П. Карлье. Скрепил общий секретарь префектуры

Клемен Рейр.

(371)

На боку: Читал и одобрил 19 апреля 1850 г. министр внутренних дел Ж. Барош.

Лета тысяча восемьсот пятидесятого, апреля двадцать четвертого.

Мы, Емилий Буллей, комиссар полиции города Парижа, и в особенности Тюльерийского отделения. Во исполнение приказаний господина префекта полиции от 23 апреля:

Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, как сказано в оригинале". Тут следует весь текст опять. В том роде, как дети говорят сказку о белом быке, повторяя всякий раз с прибавкой одной фразы: "Сказать ли вам сказку о белом быке?"

Далее: "Мы пригласили поименованного (Ie dit) Герцена явиться в продолжение двадцати четырех часов в префектуру для получения паспорта и для назначения границы, через которую от выедет из Франции.

А чтоб сказанный сударь Герцен не отозвался неведением (ne pretendre cause d'ignorance-каков язык!), мы ему оставили эту копию сказанного решения в начале сего настоящего нашего протокола объявления- nous lui avons laisse cette copie tant du dit arrete en tete de cette presente de notre proces-verbal de notification".

Где мои вятские товарищи по канцелярии Тюфяева, где Ардашов, писавший за присест по десяти листов, Вепрёв, Штин и мой пьяненький столоначальник? Как сердце их должно возрадоваться, что в Париже, после Вольтера, после Бомарше, после Ж. Санд и Гюго,- пишут так бумаги! Да и не один Вепрёв и Штин должны радоваться - а и земский моего отца, Василий Епифанов, который, из глубоких соображений учтивости, писал своему помещику: "Повеление ваше по сей настоящей прошедшей почте получил и по оной же имею честь доложить..."

Можно ли оставить камень на камне этого глупого, пошлого здания des us et coutumes¹⁷⁰, годного только для слепой и выжившей из ума старухи, как Фемида?

Чтение не произвело ожидаемого действия; парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы - мне, напротив, (372) было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоедать.

- Когда должен я явиться в префектуру? - спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

- Я советую завтра, часов в десять утра.

- С удовольствием.

- Как нынешний год весна рано начинается,-заметил комиссар города Парижа, и в особенности Тюлье-рийский.

- Чрезвычайно.

- Это старинный отель, здесь обедал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?

- Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!

- Это действительно неприятно... хозяйка умная и прекрасная женщина m^{lle} Кузен - была большой приятельницей знаменитой Ie Normand.

- Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал, может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать billet doux¹⁷¹ карлье.

- Ха, ха... мое дело вы знаете, позвольте пожелать.

- Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.

На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jerusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет-у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место, он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я (373) поклонился ему и

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть префекта.

- Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.
- Позвольте мне написать сейчас.

Он позвонил, вошел старик huissier¹⁷² с цепью на груди; сказав ему с важным видом: "Бумаги и перо этому господину", юноша кивнул мне головой.

Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.

В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: "Г. префект готов принять такого-то завтра в два часа".

Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день: у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если бог продлит его живот.

На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах сидел толстый, высокий румяный господин - из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным¹⁷³ выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.

- Вы желали видеть префекта, - сказал он мне, - но он извиняется перед вами, очень нужное дело заставило его выехать, - если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?

Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. "Ну, этот давно служит", - подумал я.

- Вы, верно знаете, зачем я пришел. (374)

Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего

- Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома

- Где ваш дом?

- Четырнадцать, Rue Amsterdam... очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.

- Позвольте узнать, какие у вас дела, по дому или...?

- Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысяч четыреста франков.

- Как-с?

- С небольшим сто тысяч roubles argent¹⁷⁴.

- Это значительная сумма!

- Cest une somme ronde¹⁷⁵.

-- Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела? - спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфлями.

- От месяца до шести недель.

- Это ужасно много.

- Процесс мой в России Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.
- Как так?
- С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.
- Dabord176, - заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры, - Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову, Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми си(375)лами возратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?

Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:

- За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч франков, и потому считал себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чем моя *somme ronde*. Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы: "что нам делать? Мы в необходимости", - взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой:

"Видите ли, - приговаривал он, - ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные *subventions*177, которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям".

- Я уверен, - сказал я, - что сам император Николай не подозревает этой солидарности; не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление.
- *Un bon citoyen*178 уважает законы страны, какие бы они ни были...179
- Вероятно, это по тому знаменитому правилу, что все же лучше, чтоб была дурная погода, чем чтоб совсем погоды не было.
- Но, чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на один месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда о вашем деле, тут не столько сомнение... (376)
- Да сделайте одолжение, отчего же не справиться, мы в войне, и если б мне было полезно употребить военную хитрость, чтоб остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?..

Но светский и милый *alter ego*180 префекта не остался в долгу:

- Люди, которые так говорят, никогда не говорят неправды.

Через месяц дело еще не было окончено; к нам ездил старик доктор Пальмье, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок. Давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здорovie, я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальмье, разумеется, был знаком со всеми в префектуре; он обещал мне лично передать X. историю моего недуга к крайнему удивлению, Пальмье приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. X. не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился лично известить его о том, что я болен, в постеле и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущий здорovieм.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Х. с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбил читать, что написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастью, я вспомнил Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимом аппетите, жаловался на аневризм, — я сказал Х., что у меня болезнь в сердце и что дорога может мне быть очень вредна.

Х. пожалел, советовал беречься, потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря:

— Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтоб ваше здоровье поправилось в продолжение этого времени; ему было бы очень неприятно, если б это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может. (377)

Я понял это и приготовился .выехать из Парижа около 20 июня..

Имя Х. встретилось мне еще раз через год. Патриот этот и bon citoyen бесшумно удалился из Франции, забывши отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков в какую-то калифорнскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры! Когда добрый гражданин увидел, что, при всем уважении к законам своей родины, он может попасть на галеры за faux181, тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная, не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенною историей калифорнской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог; видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги.

Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально garde a vue182, письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому.

Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирски-ламартиневского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона, и ему самому в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтоб, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу, из министерства внутренних дел и Elysee, все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. Второе декабря — возведение полиции на степень государственной власти.

Никогда нигде не было такой политической полиции, ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен Конвента. На это, сверх особенного национального влечения к полиции, есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным (378) шпионством, полиция везде окружена враждебными элементами и, следовательно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция — самое народное учреждение; какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него готова, часть народонаселения будет ему помогать с фанатизмом и увлечением, которые надобно умерять, а не усиливать, и помогать притом всеми страшными средствами частных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестриноного мужа, братниной жены, особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях, с общей лестницей, с общим двором и дворником?

Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы;

усталый и измученный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая пат-риотка, рассуждает так: "Он в пыли, стало, пришел издалека, он спросил курицы, стало, у него есть деньги. руки у него белые, стало, он аристократ". Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак, там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин-Муций Сцевола, ликворист, и гражданин-Брут, Тимолеон-портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции — в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!

Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Лиона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства — через префектов, помимо префектов — через развратных женщин и

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось и не только оружие, но и оруженосец; Фуше перешел к Бурбонам, сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства, – половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, – в Национальной гвардии. (379)

Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы... Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой – с болезненной, необузданной жадой денег и наслаждений, растлила целое поколение.

Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от переменяющихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.

Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, сблизившимися с целью предательства.

Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны, – так слабодушный товарищ погубил Конарского. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей, "образованных, говорящих нашим языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами.

К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4/2°/о. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжаклен-легитимист, и бездна людей, облагодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тюлье-рийском дворце. (380)

ГЛАВА XL

Европейский комитет. – Русский генеральный консул в Ницце. – Письмо к А. Ф. Орлову. – Преследование ребенка – Фогты. – Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне – Прием, в Шателе. (1850–1851)

С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: "Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов – от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюляр-ной тюрьмы.

Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852, – нового ничего, разве каждое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется".

"Письма из Франции и Италии" (1 июня 1851).

Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия. Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге центральный европейский комитет... а реакция свирепела

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
больше и больше.

После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, (381) виделся с Маццини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты¹⁸³ в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней как русский; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона движения, которую комитет представлял, то есть восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь явно свою гонту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или *alien биллем*¹⁸⁴, или предложением приостановить *habeas corpus*.

Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают что-нибудь, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, *profession de foi*¹⁸⁵ и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначей собирают деньги, литераторы пишут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частью филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с дру⁽³⁸²⁾гой – примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат *en permanence*¹⁸⁶. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, то есть невозможный.

Заговор должен быть тайной. Время тайных обществ миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания, будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал никогда ни в каком тайном обществе, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рыльева, разумеется, я бросился бы в него с головой.

Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще; у них было бы единство ненависти к одному главному врагу – к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.

Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:

"Ницца, 13 сентября 1850.

Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. (383) Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.

Вы чуть ли не один из главных политических деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru в мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позвот предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело, с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.

Какая тут может быть организация? – Это одно смешение.

Ни вам, ни истории эти люди не нужны, все, что для них можно сделать – это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что нового в прокламациях, что в "Proscrit"? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы, – это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устраиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли, – но где же она?

Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломатия, политика, оружие наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм – религия рационалистов, представительная система, приложенная к (384) вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.

Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами, от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторяют.

В "Nouveau Mond" тот же *vacuum horrendum* 187, печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем – войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну – настоящим казаком... auf eigene Faust 188, как говорят немцы, при большой революционной армии – не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.

В ожидании этого – я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития; но говорить, обращать, убеждать зависит от меня – и я это делаю от всей души и от всего помышления.

Простите мне, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, – но тоже преданным и своим убеждениям".

На это письмо Маццини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и проч.

В ту же осень, в которую меня вспомнил Маццини и европейский комитет, вспомнил меня, наконец, и противоевропейский комитет Николая Павловича. (385)

Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал поконченными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура второго порядка.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Я имею вам сделать сообщение.

- Несмотря на то, - отвечал я, - что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.

Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: "Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им..." - снова встал.

Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах, и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:

- Сделайте одолжение, я слушаю.

- "...ператорское величество, - продолжал он, снова садясь, - изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки". Он замолчал.

Я продолжал не говорить ни слова.

- Что же мне отвечать? - спросил он, складывая бумагу.

- Что я не поеду.

- Как не поедете?

- Так-таки, просто не поеду.

- Вы обдумали ли, что такой шаг...

- Обдумал.

- Да как же это... Позвольте, что же я напишу? по какой причине?. (386)

- Вам не ведено принимать никаких причин.

- Как же я скажу, ведь это - ослушание воли- его императорского величества?

- Так и скажите.

- Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это, - и он еще больше покраснел. - Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще келейно. (Консул, верно, думал, что III отделение - монастырь.)

Как я ни человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула в Ницце не хотел ехать в Петропавловские кельи отца Леонтия или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича.

- Неужели, - сказал я ему, - когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поеду? Забудьте, что вы консул, и рассудите сами. Именье мое секвестровано, капитал моей матери был задержан, и все это не спрашивая меня, хочю ли я возвратиться. Могу ли же я после этого ехать, не сойдя с ума?

Он мялся, постоянно краснел и, наконец, попал на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

- Я не могу, - сказал он, - вступать... я понимаю затруднительное положение, с другой стороны - милосердие! - Я посмотрел на него, он опять покраснел. Сверх того, зачем же вам отрезывать себе все пути? Вы напишите мне, что вы очень больны, я отошлю к графу.

- Это уж слишком старо, да и на что же без нужды говорить неправду.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Ну, так уж потрудитесь написать мне письменный ответ.
- Пожалуй. Вы мне не оставите ли копии с бумаги, которую читали?
- У нас этого не делается.
- Жаль. Я собираю коллекцию.

Как ни был прост мой письменный ответ, консул все же перепугался: ему казалось, что его переведут за него, не знаю, куда-нибудь в Бейрут или в Триполи; он решительно объявил мне, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмелится. Как я его ни убеждал, что на него не может пасть никакой ответственности, он не соглашался и просил меня написать другое письмо. (387)

- Это невозможно, - возразил я ему, - я не шучу этим шагом и вздорных причин писать не стану: вот вам письмо и делайте с ним, что хотите.

- Позвольте, - говорил самый кроткий консул из всех, бывших после Юния Брута и Кальпурния Бестии, - вы письмо это напишите не ко мне, а к графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

- Дело не трудное, стоит поставить "M. Le comte" вместо "M. Le consul"189; на это я согласен.

Переписывая мое письмо, мне пришло в голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. По-русски кантонист какой-нибудь в его канцелярии или в канцелярии III отделения может его прочесть, его могут послать в сена г, и молодой обер-секретарь покажет его писцам; зачем же их лишать этого удовольствия? А потому я перевел письмо. Вот оно:

"М. г. Граф Алексей Федорович!

Императорский консул в Ницце сообщил мне высочайшую волю о моем возвращении в Россию. При всем желании, я нахожусь в невозможности исполнить ее, не приведя в ясность моего положения.

Прежде всякого вызова, более года тому назад, положено было запрещение на мое имя, отобраны деловые бумаги, находившиеся в частных руках, наконец, захвачены деньги, 10000 фр., высланные мне из Москвы. Такие строгие и чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что, прежде всякого вопроса, всякого суда, признан виновным и наказан лишением части моих средств.

Я не могу надеяться, чтоб одно возвращение мое могло меня спасти от печальных последствий политического процесса. Мне легко объяснить каждое из моих действий, но в процессах этого рода судят мнения, теории;

на них основывают приговоры. Могу ли я, должен ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

В. с., оцените простоту и откровенность моего ответа и повергнете на высочайшее рассмотрение причины, заставляющие меня остаться в чужих краях, несмотря на мое искреннее и глубокое желание возвратиться на родину.

Ницца, 23 сентября 1850".

(388)

Я действительно не знаю, возможно ли было скромнее и проще отвечать; но у нас так велика привычка к рабскому молчанию, что и это письмо консул в Ницце-счел чудовищно дерзким, да, вероятно, и сам Орлов также.

Молчать, не смеяться, да и не плакать, а отвечать по данной форме, без похвалы и осуждения, без веселья, да и без печали - это идеал, до которого деспотизм хочет довести подданных и довел солдат, - но какими средствами? А вот я вам расскажу.

Николай раз на смотру, увидав молодца флангового солдата с крестом, спросил его:

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
"Где получил крест?" По несчастью, солдат этот был из каких-то ишляившихся семинаристов и, желая воспользоваться таким случаем, чтобы блеснуть красноречием, отвечал: "Под победоносными орлами вашего величества". Николай сурово взглянул на него, на генерала, надулся и про-шел. А генерал, шедший за ним, когда поровнялся с солдатом, бледный от бешенства, поднял кулак к его лицу и сказал: "В гроб заколочу демосфена!"

Мудрено ли, что красноречие не цветет при таких поощрениях!

Отделавшись от императора и консула, мне захотелось выйти из категории беспаспортных.

Будущее было темно, печально... я мог умереть, и мысль, что тот же краснеющий консул явится распорядиться в доме, захватит бумаги, заставляла меня думать о получении где-нибудь прав гражданства. Само собою разумеется, что я выбрал Швейцарию, несмотря на то, что именно около этого времени в Швейцарии сделали мне полицейскую шалость.

С год после рождения моего второго сына, мы с ужасом заметили, что он совершенно глух. Разные консультации и опыты скоро доказали, что возбудить слух было невозможно. Но тут явился вопрос, следовало ли его оставить, как это всегда делают, немым? Школы, которые я видел в Москве, далеко не удовлетворяли меня. Разговор пальцами и знаками не есть разговор, говорить надобно ртом и губами. По книгам я знал, что в Германии и в Швейцарии делали опыты учить глухонемых говорить, как мы говорим, и слушать, смотря на губы. В Берлине я видел в первый раз оральное преподавание глухонемым и слышал, как они декламировали стихи. Это огромный шаг вперед от метода аббата Лепе. В Цюрихе это учение доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, решила поселиться с ним на несколько лет в Цюрихе, чтобы посылать его в школу.

Ребенок этот был одарен необыкновенными способностями: вечная тишина вокруг него, сосредоточивая его живой, порывистый характер, славно помогала его развитию и вместе с тем изоощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горели умом и вниманием; пяти лет он умел дразнить намеренно карикатурно всех приходивших к нам с таким комическим тактом, что нельзя было не смеяться.

В полгода он сделал в школе большие успехи. Его голос был воистину; он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше - проезжая через Цюрих, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они мне.

Но после моего отъезда старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще и с социалистами, которых они ненавидели, и, что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке "vom andern Ufer", вышедшей, как на смех, у них под носом, из лучшей цюрихской типографии. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтоб сбрызнуть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала паспорт ребенка; я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, - что Коля действительно мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка (390) из школы и из города. Я рассказал это в Париже, кто-то из моих знакомых напечатал об этом в "на-сионале". Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение (caution), что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через "насиональ")? И это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере.

Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастью, не делил мнений полицейского синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые кварталные

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери, с тем чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Мать моя с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим залогом, ей его не выдали под предлогом, что Коля еще в Швейцарии. Я написал из Ниццы. Цюрихская полиция потребовала сведений, имеет ли Коля законное право жить в Пиэмонте...

Это было уже слишком, и я написал следующее письмо к президенту Цюрихского кантона:

"Г. президент!

В 1849 году я поместил моего сына, пяти лет от роду, в цюрихский институт глухонемых. Через несколько месяцев цюрихская полиция потребовала у моей матери его паспорт. Так как у нас не спрашивают ни у новорожденных, ни у детей, ходящих в школу, паспортов, то сын мой и не имел отдельного вида, а был помещен на моем. Это объяснение не удовлетворило цюрихскую полицию. Она потребовала залог. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшего на себя столько опасливого подозрения со стороны цюрихской полиции, вышлют, - внесла его. (391)

В августе 1850 года, желая оставить Швейцарию, моя мать потребовала залог, но цюрихская полиция его не отдала; она хотела прежде узнать о действительном отъезде ребенка из кантона. Приехав в Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, причем она приложила свидетельство о том, что мы и, главное, шестилетний и подозрительный сын мой находимся в Ницце, а не в Цюрихе. Цюрихская полиция, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидетельства, в котором здешняя полиция должна была засвидетельствовать, "что сыну моему официально позволено жить в Пиэмонте" (*que l'enfant est officiellement tolere*). Г. Шултгес сообщил это г. Авиг-дору.

Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиции, я отказался от предложения г. Авигдора послать новое свидетельство, которое он очень любезно предложил мне сам взять. Я не хотел доставить этого удовольствия цюрихской полиции, потому что она, при всей важности своего положения, все же не имеет права ставить себя полицией международной, и потому еще, что требование ее не только обидно для меня, но и для Пиэмонта.

Сардинское правительство, господин Президент, - правительство образованное и свободное. Как же возможно, чтоб оно не дозволило жить (*ne tolerat pas*) в Пиэмонте больному ребенку шести лет? Я действительно не знаю, как мне считать этот запрос цюрихской полиции - за странную шутку или за следствие пристрастия к залогам вообще.

Представляя на ваше рассмотрение, г. Президент, это дело, я буду вас просить, как особенного одолжения, в случае нового отказа, объяснить мне это происшествие, которое слишком любопытно и интересно, чтоб я считал себя вправе скрыть его от общего сведения.

Я снова писал к г. Шултгесу о получении денег и могу вас смело уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желанья, после всех полицейских неприятностей, возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности.

Ницца, 9 сентября 1850л

(392)

Само собою разумеется, что после этого полиция города Цюриха, несмотря на вселенские притязания, выплатила залог...

...Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской; поступить добровольно в подданство чье бы то ни было было мне противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли две страны:

Америка и Швейцария.

Америка-я ее очень уважаю; верю, что она призвана к великому будущему, знаю, что

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru она теперь вдвое ближе к Европе, чем была, но американская жизнь мне антипатична. Весьма вероятно, что из угловатых, грубых, сухих элементов ее сложится "иной быт". Америка не приняла оседлости, она недостроена, в ней работники и мастеровые в будничном платье таскают бревна, таскают камни, пилят, рубят, приколачивают... зачем же постороннему обживать ее сырое здание?

Сверх того, Америка, как сказал Гарибальди, - "страна забвения родины"; пусть же в нее едут те, которые не имеют веры в свое отечество, они должны ехать с своих кладбищ; совсем напротив, по мере того как я утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась - но думать о возвращении при Николае было бы безумием.

Итак, оставалось вступить в союз с свободными людьми Гельветической конфедерации.

Фази еще в 1849 году обещал меня натурализовать в Женеве, но все оттягивал дело; может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов в своем кантоне. Мне это надоело, приходилось переживать черное время, последние стены покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до беды... Карл Фогт предложил мне списаться о моей натурализации с Ю. Шаллером, который был тогда президентом Фрибургского кантона и главою тамосней радикальной партии.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о нем самом.

В однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встречаются иногда, как бы на выкуп ей - здоровые, коренастые семьи, исполненные силы, упорства, талантов. Одно поколение даровитых людей смеется другим, многочисленнейшим, сохраняя из рода в род дюжесть ума и тела. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры дом в узком, темном переулке, трудно представить себе, сколько в продолжение ста лет сошло по стоптаным каменным ступенькам его лестницы - молодых парней с котомкой за плечами, с всевозможными сувенирами из волос и сорванных цветов в котомке, благословляемых на путь слезами матери и сестер... и пошли в мир, оставленные на одни свои силы, и сделались известными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домик, крытый черепицей, в их отсутствие опять наполнялся новым поколением студентов, рвущихся грядью вперед в неизвестную будущность.

За неимением другого тут есть наследство примера, наследство фибрина. Каждый начинает сам и знает, что придет время и его выпроводит старушка бабушка по стоптанной каменной лестнице, - бабушка, принявшая своими руками в жизнь три поколения, мывшая их в маленькой ванне и опускавшая их с полною надеждой; он знает, что гордая старушка уверена и в нем, уверена, что и из него выйдет что-нибудь... и выйдет непременно!

Dann und wann¹⁹², через много лет, все это рассеянное население побывает в старом домике, все эти состарившиеся оригиналы портретов, висящих в маленькой гостиной, где они представлены в студенческих беретах, завернутые в плащи, с рембрандтовским притязанием со стороны живописца - в доме тогда становится светлее, два поколения знакомятся, сближаются... и потом опять все идет на труд. Разумеется, что при этом кто-нибудь непременно в кого-нибудь хронически влюблен, разумеется, что дело не обходится без сентиментальности, слез, сюрпризов и сладких пирожков с вареньем, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзией с мышцами и силой, которую ч редко встречал в выродившихся, рахитических детях аристократии и еще менее у мещанства, строго соразмеряющего число детей с приходо-расходной книгой.

Вот к этим - то благословенным семьям древнегерманским принадлежит родительский дом Фогте. (394)

Отец Фогта - чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне; мать - из рода Фолленов, из этой эксцентрической, некогда наделавшей большого шума швей-царско-германской семьи. Фоллены являются главами юной Германии в эпоху тугендбундов и буршеншафтов, Карла Занда и политического Schwarmerei¹⁹³ 17 и 18 годов. Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбург-ский праздник в память Лютера; он произнес действительно зажигательную речь, вслед за которою сжег на костре иезуитские и реакционные книги, всякие символы самодержавия и папской власти. Студенты мечтали сделать его императором единой и нераздельной Германии. Его внук, Карл Фогт, в самом деле был одним из викариев империи в 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь в жилах сына бернского профессора, внука Фолленов. А ведь *au bout du compte*¹⁹⁴ все зависит от химического соединения да от качества элементов. Не Карл Фогт станет со мной спорить об этом.

В 1851 году я был проездом в Берне. Прямо из почтовой кареты я отправился к Фогтову отцу с письмом сына. Он был в университете. Меня встретила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла как друга своего сына и тотчас повела показывать его портрет. Мужа она не ждала ранее шести часов; мне его очень хотелось видеть, я возвратился, но он уже уехал на какую-то консультацию к больному. Второй раз старушка встретила меня уже как старого знакомого и повела в столовую, желая, чтоб я выпил рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большим круглым столом, неподвижно прикрепленным к полу; об этом столе я уже давно слышал от Фогта и потому очень рад был лично познакомиться с ним. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для еды, тарелки, горчицу, соль, так что, не беспокоя никого и без прислуги, каждый привертывал к себе, что хотел, - ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вместо горчицы можно было попасть ложкой в сахар... если кто-нибудь повер(395)тывал диск. В этом населении братьев и сестер, коротких знакомых и родных, где все были заняты розно, срочно, общий обед вечером было трудно устроить. Кто приходил и кому хотелось есть, тот садился за стол, вертел его направо, вертел его налево, и управлялся как нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у них я не мог; ко мне вечером хотели приехать Фази и Шаллер, бывшие тогда в Берне; я обещал, если пробуду еще полдня, зайти к Фогтам и, пригласивши меньшего брата, юриста, к себе ужинать, пошел домой. Звать старика так поздно и после такого дня я не счел возможным. Но около двенадцати часов гарсон, почтительно отворяя двери перед кем-то, возвестил нам:

"Der Herr Professor Vogt", - я встал из-за стола и пошел к нему навстречу.

Вошел старик довольно высокого роста, с умным, выразительным лицом, превосходно сохранившийся.

- Ваше посещение, - сказал я ему, - мне вдвойне дорого, я не смел вас звать так поздно, после ваших трудов.

- А я не хотел вас пропустить через Берн, не увидавшись с вами. Услышав, что вы были у нас два раза и что вы пригласили Густава", я пригласил сам себя. Очень, очень рад, что вижу вас, то, что Карл о вас пишет, да и без комплиментов, я хотел познакомиться с автором "С того берега".

- Душевно благодарю вас; вот место, садитесь с нами, у нас ужин во всем разгаре, что вам угодно?

- Я не буду есть, но рюмку вина выпью с удовольствием.

В его виде, словах, движениях было столько непринужденности, вместе - не с тем добродушием, которое имеют люди вялые, пресные и чувствительные, - а именно с добродушием людей сильных и уверенных в себе. Его появление нисколько не стеснило нас, напротив, все пошло живее.

Разговор переходил от предмета к предмету, везде, во всем он был дома, умен, *eveille*¹⁹⁵, оригинален. Речь зашла как-то о федеральном концерте, который давался утром в бернском соборе и на котором были все, кроме (396) Фогта. Концерт был гигантский, со всей Швейцарии съехались музыканты, певцы и певицы для участия в нем. Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и пониманием исполнили они знаменитое творение Гайдна. Публика была внимательна, но холодна, она шла из собора, как идут от обедни; не знаю, насколько было благочестия, но увлечения не было. Я то же испытал на самом себе. В припадке откровенности я сказал это знакомым, с которыми выходил; по несчастью, это были правоверные, ученые, горячие музыканты, они напали на меня, объявили меня профаном, не умеющим слушать музыку глубокую, серьезную. "Вам только нравятся мазурки Шопена", - говорили они. В этом еще нет беды, думал я, но, считая себя все же несостоятельным судьей, замолчал.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Надобно иметь много храбрости, чтоб признаваться в таких впечатлениях, которые противоречат общепринятому предвзвешенному или мнению. Я долго не решался при посторонних сказать, что "Освобожденный Иерусалим" – скучен, что "Новую Элоизу" – я не мог дочитать до конца, что "Герман и Доротея" – произведение мастерское, но утомляющее до противности. Я сказал что-то в этом роде Фогту, рассказывая ему мое замечание о концерте.

– А что, – спросил он, – Моцарта вы любите?

– Чрезвычайно, без всяких границ.

– Я знал это, потому что я вполне вам сочувствую. Как же это возможно, чтоб живой, современный человек мог себя так искусственно натянуть на религиозное настроение, чтоб наслаждение его было естественно и полно? Для нас так же нет пиетистической музыки, как нет духовной литературы, – она для нас имеет смысл исторический. У Моцарта, напротив, звучит нам знакомая жизнь, он поет от избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда "Don Giovanni", когда "Nozze di Figaro"¹⁹⁶ были новостию, что это был за восторг, что за откровение нового источника наслаждений! Моцартова музыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гётев "Фауст", как 1789 год. Мы видели в его произведениях, как светская мысль XVIII столетия с своей секуляризацией жизни вторгалась в музыку; с Моцартом рево(397)люция и новый век вошли в искусство. Ну, как же нам после "Фауста" читать Клопштока и без веры слушать эти литургии в музыке?..

Долго и необыкновенно занимательно говорил старик, он одушевился, я налил еще раза два вина в его бокал, он не отказывался и не торопился пить. Наконец, он посмотрел на часы.

– Ба! уж два часа, прощайте, мне в девять надобно быть у больного.

Я с истинной дружбой проводил его.

Два года спустя он доказал, как много энергии в его седой голове и как его теории – правда, то есть как они близки к практике. Венский рефюжье, доктор Куд-лих, посватался за одну из дочерей Фогта; отец был согласен, но вдруг протестантская консистория потребовала метрические свидетельства жениха. Разумеется, ему, как изгнаннику, ничего нельзя было достать из Австрии, и он представил приговор, по которому был осужден заочно; одного свидетельства Фогта и его дозволения было бы достаточно для консистории, но бернские пиетисты, по инстинкту ненавидевшие Фогта и всех изгнанников, уперлись. Тогда Фогт собрал всех своих друзей, профессоров и разные бернские знаменитости, рассказал им дело, потом позвал свою дочь и Кудлиха, взял их руки, соединил и сказал присутствовавшим:

– Вас, друзья, беру в свидетели, что я как отец благословляю этот брак и отдаю мою дочь, по ее желанию, за такого-то.

Поступок этот ошеломил пиетистическое общество в Швейцарии; оно с негодованием и ужасом взглянуло на этот antecedent, сделанный не горячим юношей, не бездомным изгнанником, а старцем безукоризненным и уважаемым всеми.

Теперь от отца перейдемте к его старшему сыну.

Я с ним познакомился в 1847 году у Бакунина, но особенно сблизился мы в два года нашей жизни в Ницце. Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною. Я счел бы его за очень счастливого человека, если б знал, что он недолго проживет; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сих пор, донимая только одними мигренями. Его натура – реальная, живая, всему раскрытая – имеет многое, чтоб наслаждаться, все, чтоб никогда не ску(398)чать, и почти ничего, чтобы мучиться внутренне, разъедать себя недовольной мыслию, страдать теоретически – сомнением и практически – тоской по несбывшимся мечтам. Страстный поклонник красот природы, неутомимый работник в науке, он все делал необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художник в своем деле, он им наслаждался; радикал – по темпераменту, реалист – по организации и гуманный человек – по ясному и добродушно ироническому взгляду, он жил именно в той жизненной среде, к которой единственно идут дантовские слова: "Qui è luoto felice"¹⁹⁷.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Он прожил жизнь деятельно и беззаботно, нигде не отставая, везде в первом ряду; не боясь горьких истин, он так же пристально всматривался в людей, как в полипы и медузы, ничего не требуя ни от тех, ни от других, кроме того, что они могут дать. Он не поверхностно изучал, но не чувствовал потребности переходить известную глубину, за которой и оканчивается все светлое и которая в сущности представляет своего рода выход из действительности. Его не манило в те нервные омуты, в которых люди упиваются страданиями. Простое и ясное отношение к жизни исключало из его здорового взгляда ту поэзию печальных восторгов и болезненного юмора, которую мы любим, как всё потрясающее и едкое. Его ирония, как я заметил, была добродушна, его насмешка весела; он смеялся первый и от души своим шуткам, которыми отравлял чернила и пиво педантов-профессоров и своих товарищей по парламенту in der Pauls kirche198.

В этом жизненном реализме было то общее, симпатическое, что нас связывало; хотя жизнь и развитие наше были так розны, что мы во многом расходились.

Во мне не было и не могло быть той спетости и того единства, как у Фогта. Воспитание его шло так же правильно, как мое – бессистемно; ни семейная связь, ни теоретический рост никогда не обрывались у него, он продолжал традицию семьи. Отец стоял возле примером и помощником; глядя на него, он стал заниматься естественными науками. У нас обыкновенно поколение с поколением расчленено; общей, нравственной связи у (399) нас нет. Я с ранних лет должен был бороться с воззрением всего окружавшего меня, я делал оппозицию в детской, потому что старшие наши, наши деды были не Фоллены, а помещики и сенаторы. Выходя из нее, я с той же запальчивостью бросился в другой бой и, только что кончил университетский курс, был уже в тюрьме, потом в ссылке. Наука на этом переломилась, тут; представилось иное изучение-изучение мира несчастного с одной стороны, грязного – с другой.

Наскучив этой патологией, я бросился с жадностью на философию, от которой Фогт чувствовал непреодолимое отвращение. Окончив курс медицины и получив диплом доктора, он не решился лечить, говоря, что недостаточно верит в врачебную каббалистику, и снова весь отдался физиологии. Труд его очень скоро обратил на себя внимание не только немецких ученых, но и парижской академии наук. Он уже был профессором сравнительной анатомии в Гиссене, товарищем Либиха (с которым вел потом озлобленную химико-теологическую полемику), когда революционный шквал 1848 года оторвал его от микроскопа и бросил в Франкфуртский парламент.

Разумеется, что он стал в самый радикальный ряд, говорил исполненные остроты и отваги речи, выводил из терпения умеренных прогрессистов, а иногда и неумеренного короля прусского. Совсем не будучи политическим человеком, он по удельному весу сделался одним из "лидеров" оппозиции, и, когда эрцгерцог Иоанн, бывший каким-то викарием империи, окончательно сбросил с себя маску добродушия и популярности, заслуженной тем, что он женился когда-то на дочери станционного смотрителя и иногда ходил во фраке, Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место. Тут дела немецкой революции пошли быстро под гору: правительства достигли цели, выиграли нужное время (по совету Меттерниха) – зачать парламент им было бесполезно. Изгнанный из Франкфурта, парламент мелькнул какой-то тенью в Штутгарде, под печальным названием Nachparlament199, там его реакция и придушила. Оставалось викариям подброду да поздорову уехать от верной тюрьмы и каторжной работы... Переехав швейцарские горы, Фогт стряхнул с себя пыль франкфуртского со(400)бора и, расписавшись в книге путешественников:

"К. Фогт – викарий Германской империи в бегах", снова принялся с той же невозмутимой ясностью, веселым расположением духа и неутомимым трудолюбием за естественные науки. С целью изучения морских зоофитов он поехал в Ниццу в 1850.

Несмотря на то, что мы шли с разных сторон и разными путями, мы встретились на трезвом совершеннолетию в науке.

Был ли я так последователен, как Фогт – и в жизни, трезво ли я на нее смотрел? Теперь мне кажется, что нет. Да я не знаю, впрочем, хорошо ли начинать с трезвости; она не только предупреждает много бедствий, но и лучшие минуты жизни. Вопрос трудный, который, по счастью, для каждого разрешается не рассуждениями и волей, а организацией и событиями. Теоретически освобожденный, я не то что хранил разные непоследовательные верования, а они сами остались романтизм революции я пережил, мистическое верование в прогресс, в человечество оставалось дольше других .теологических догматов; а когда я и их пережил, у меня еще

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru оставалась религия личностей, вера в двух-трех, уверенность в себя, в волю человеческую. Тут были, разумеется, противоречия; внутренние противоречия ведут к несчастьям, тем более прискорбным, обидным, что у них вперед отнято последнее человеческое утешение-оправдание себя в своих собственных глазах...

В Ницце Фогт принялся с необыкновенной ревностью за дело... Покойные, теплые заливы Средиземного моря представляют богатую колыбель всем frutti di mare²⁰⁰, вода просто полна ими. Ночью бразды их фосфорного огня тянутся, мерцают, за лодкой, тянутся за веслом, салпы можно брать рукой, всяким сосудом. Стало быть, в материале не было недостатка. С раннего утра сидел Фогт за микроскопом, наблюдал, рисовал, писал, читал и часов в пять бросался, иногда со мной, в море (плавал он, как рыба,); потом он приходил к нам обедать и, вечно веселый, был готов на ученый спор и на всякие пустяки, пел за фортепьяно уморительные песни или рассказывал детям сказки с таким мастерством, что они, не вставая, слушали его целые часы. (401)

Фогт обладает огромным талантом преподавания. Он, полушутя, читал у нас несколько лекций физиологии для дам. Все у него выходило так живо, так просто и так пластически выразительно, что дальний путь, которым он достиг этой ясности, не был заметен. В этом-то и состоит вся задача педагогики-сделать науку до того понятной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым, обыкновенным языком,

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, то есть непереваримые. Ученый язык - язык условный, под титлами, язык стенографированный, временный, пригодный ученикам; содержание спрятано в его алгебраических формулах для того, чтоб, раскрывая закон, не повторять сто раз одного и того же. Переходя рядом схоластических приемов, содержание науки обрастает всей этой школьной дрянью - а доктринеры до того привыкают к уродливому языку, что другого не употребляют, им он кажется понятен, - в стары годы им этот язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного. По мере того как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропилы и подмостки становятся противны - мы ищем простоты, кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?

Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель вместо истинного знания, - не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи. В недостатке откровенности, в робких уступках никто не обвинит Фогта. Скорее "нежные души" упрекут его в том, что он слишком прямо и слишком просто высказывает свою правду, находящуюся в прямом противоречии с общепринятой ложью. Христианское воззрение приучило к дуализму и идеальным образам так сильно, что нас неприятно поражает все естественно здоровое; наш ум, свихнутый веками, гнушается голой красотой, дневным светом и требует сумерек и покрывала.

Читая Фогта, многим обидно, что ему ничего не стоит принимать самые резкие последствия, что ему жертвовать так легко, что он не делает усилий, не му(402)чится, желая примирить теодицею с биологией, - ему до первой как будто дела нет.

Действительно, натура Фогта такова, что он никогда иначе не думал и не мог иначе думать, в этом-то и состоит его непосредственный реализм. Теологические возражения могли ему представлять только исторический интерес; нелепость дуализма до того ясна его простому взгляду, что он не может вступать в серьезный спор с ним, так, как его противники-химические богословы и святые отцы физиологии - в свою очередь не могут серьезно опровергать магию или астрологию. Фогт отшучивается от их нападков-а этого, по несчастью, мало.

Вздор, которым ему возражают, - вздор всемирный и поэтому очень важный. Детство человеческого мозга таково, что он не берет простой истины; для сбитых с толку, рассеянных, смутных умов только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелепо.

Тут нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебные места, учебные заведения, правительства и революционеры поддерживают наперерыв родовое безумие человечества и как семьдесят лет тому назад сухой деист Робеспьер казнил Анахарсиса Клоца, так какие-нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта в руки палача.

Бой невозможен, сила с их стороны. Против горсти ученых, натуралистов, медиков, двух-трех мыслителей, поэтов – весь мир, от Пия IX "с незапятнанным зачатием" до Маццини с "республиканским iddio201"; от московских православных кликуш славянизма до генерал-лейтенанта Радовица, который, умирая, завещал профессору физиологии Вагнеру то, чего еще никому не приходило в голову завещать, – бессмертие души и ее защиту; от американских заклинателей, вызывающих покойников, – до английских полковников-миссионеров, проповедующих верхом перед фронтом слово божие индийцам. Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущие поколения .

.. А если докажут, что это безумие, эта религиозная мания – единственное условие гражданского общества, что для того, чтоб человек спокойно жил возле человека, надобно обоим свести с ума и запугать, что эта (403) мания-единственная уловка, в силу которой творится история?

Я помню французскую карикатуру, сделанную когда-то против фурьеристов с их attraction passionnee202: на ней представлен осел, у которого на спине прикреплен шест, а на шесте повешено сено, так чтоб он мог его видеть. Осел, думая достать сено, должен идти вперед,-двигалось, разумеется, и сено-он шел за ним. Может, доброе животное и прошло бы далее так – но ведь все-таки оно осталось бы в дураках!

Перехожу теперь к тому, как одна страна радушно приняла меня в то самое время, как другая без всякого повода вытолкнула.

Шаллер обещал фогту похлопотать о моей натурализации, то есть найти общину, которая согласилась бы принять меня, и потом поддержать дело в Большом совете. В Швейцарии для натурализации необходимо, чтоб предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятие нового согражданина, что совершенно согласно с самозаконностью каждого кантона и каждого местечка в свою очередь. Деревенька Шатель, близ Мора (Муртен), соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей. Деревенька эта недалеко от Муртенского озера, возле которого был разбит и убит Карл Смелый, несчастная смерть и имя которого так ловко послужили австрийской цензуре (а потом и петербургской) для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере.

Когда дело поступило в Большой совет, два иезуитствующие депутата подняли голос против меня, но ничего не сделали. Один из них говорил, что надобно было бы знать-почему я был в ссылке и чем навлек гнев Николая. "Да это – само по себе рекомендация!" – отвечал ему кто-то, и все засмеялись. Другой, из видов предупредительной осторожности, требовал новых обеспечений, чтоб в случае моей смерти воспитание и содержание моих детей не пало на бедную коммуну. Удовлетворился и этот сын во Иисусе ответом шаллера. Мои права гражданства были признаны огромным большинством(404)ством, и я сделался из русских надворных советников – тягловым крестьянином сельца Шателя, что под Муртенем, "originnaire de Chatel pres Morat"203, как расписался фрибургский писарь на моем паспорте.

Натурализация нисколько не мешает, впрочем, карьере дома,-я имею два блестящих примера перед глазами: Людовик Бонапарт-гражданин Турговии, и Александр Николаевич-бюргер дармштадтский, сделались, после их натурализации, императорами. Так далеко я и не иду.

Получив весть об утверждении моих прав, мне было почти необходимо съездить поблагодарить новых сограждан и познакомиться с ними. К тому же у меня именно в это время была сильная потребность побыть одному, всмотреться в себя, сверить прошлое, разглядеть что-нибудь в тумане будущего, и я был рад внешнему толчку.

Накануне моего отъезда из Ниццы я получил приглашение от начальника полиции de la sicurezza pubblica204. Он мне объявил приказ министра внутренних дел – выехать немедленно из сардинских владений. Эта странная мера со стороны ручного и уклончивого сардинского правительства удивила меня гораздо больше, чем высылка из Парижа в 1850. К тому же и не было никакого повода.

Говорят, будто я обязан этим усердию двух-трех верноподданных русских, живших в Ницце, и в числе их мне приятно назвать министра юстиции Панина; он не мог вынести, что человек, навлекший на себя высочайший гнев Николая Павловича, не

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru только покойно живет, и даже в одном городе с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь император этого не жалует. Приехав в Турин, юстиция, говорят, попросил, так, по доброму знакомству, министра Азелио выслать меня. Сердце Азелио чуяло, верно, что я в Крутицких казармах, учась по-итальянски, читал его "La Disfida di Barletta" – роман "и не классический и не старинный", хотя тоже скучный, – и ничего не сделал. А может, и потому он не решился меня выслать, что, прежде таких дружеских вниманий, надобно было прислать (405) посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта.

Зато ниццкий интендант и министры в Турине воспользовались рекомендацией при первом же случае. Несколько дней до моей высылки в Ницце было "народное волнение", в котором лодочники и лавочники, увлекаемые красноречием банкира Авигодора, протестовали, и притом довольно дерзко, говоря о независимости ниццкого графства, о его неотъемлемых правах, – против уничтожения свободного порта. Общее легкое таможенное положение для всего королевства уменьшало их привилегии без уважения "к независимости ниццкого графства" и к его правам, "начертанным на скрижалях истории".

Авигодора, этого Оконнеля Пальоне (так называется сухая река, текущая в Ницце), посадили в тюрьму, ночью ходили патрули, и народ ходил, те и другие пели песни, и притом одни и те же, – вот и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой из иностранцев не участвовал в этом семейном деле тарифов и таможен. Тем не менее интендант указал на несколько человек из рефюжье как на зачинщиков, и в том числе на меня. Министерство, желая показать пример целебной строгости, велело меня прогнать вместе с другими.

Я пошел к интенданту (из иезуитов) и, заметив ему, что это совершеннейшая роскошь высылать человека, который сам едет и у которого визированный пасс в кармане – спросил его, в чем дело? Он уверял, что сам так же удивлен, как я, что мера взята министром внутренних дел, даже без предварительного сношения с ним. При этом он был до того учтив, что у меня не осталось никакого сомнения, что все это напакостил он. Я написал разговор мой с ним известному депутату оппозиции Лоренцо Валерио и уехал в Париж,

Валерио свирепо напал на министра в своей интерпелляции и требовал отчета, почему меня выслали. Министр мялся, отклонял всякое влияние русской дипломатии, свалил все на доносы интенданта и смиренно заключил, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно с удовольствием изменит свое решение.

Оппозиция аплодировала. Следственно, de facto запрещение было снято, но, несмотря на мое письмо к (406) министру, он мне не отвечал. Речь Валерио и ответ на нее я прочитал в газетах и решился ехать просто-напросто в Турин, на возвратном пути из Фрибурга. Чтоб не иметь отказа в визе, я поехал без визы; на пизмонтской границе со стороны Швейцарии пассы осматривают без свирепого ожесточения французских жандармов. В Турине я пошел к министру внутренних дел: вместо его меня принял его товарищ, заведовавший верховной полицией, граф Понса де ла Мартино, человек известный в тех краях, умный, хитрый и преданный католической партии.

Прием его меня удивил. Он мне сказал все то, что я ему хотел сказать; что-то подобное было со мной в одно из свиданий с Дубельтом, но граф Понс перещеголял.

Он был очень пожилых лет, болезненный, худой, с отталкивающей наружностью, с злыми и лукавыми чертами, с несколько клерикальным видом и жесткими, седыми волосами на голове. Прежде чем я успел сказать десять слов о причине, почему я просил аудиенции у министра, он перебил меня словами:

– Да помилуйте, где же тут может быть сомнение... Отправляйтесь в Ниццу, отправляйтесь в Геную, оставайтесь здесь – только без малейшей гансине205, мы очень рады... это все наделал интендант... видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку. Если бы вы сделали что-нибудь противное законам, на то есть суд, вам нечего тогда было бы пенять на несправедливость, не правда ли?

– Совершенно согласен с вами.

– А то берут меры, которые раздражают... заставляют кричать – и без всякой нужды!

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
После этой речи против самого себя он проворно схватил лист бумаги с
министерским заголовком и написал: "Si permette al sig. A. H. di ritornare a
Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il mi-nistro S.
Martino. 12 Juglio 1851"206.

- Вот вам на всякий случай, впрочем, будьте уверены, до этой бумаги дело не
дойдет. Я очень, очень рад, что мы покончили с вами это дело. (407)

Так как это значило *vulgariter*207 "ступайте с богом", то я и оставил моего
Понса, улыбаясь вперед лицу, которое сделает интендант в Ницце; но этого лица
бог мне не привел видеть, его сменили.

Но возвращаюсь к Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и
проехавши по знаменитому мосту, как все смертные, бывшие в Фрибурге, мы
отправились с добрым старичком, канцлером Фрибургского кантона, в Шатель. В
Муртене префект полиции, человек энергический и радикальный, просил нас
подождать у него, говоря, что староста поручил ему предупредить его о нашем
приезде, потому что ему и прочим домохозяевам было бы очень неприятно, если б я
приехал невзначай, когда все в поле на работе. Погулявши час-два по Мора или
Муртону, мы отправились, и префект с нами.

Возле дома старосты ждали нас несколько пожилых крестьян и впереди их сам
староста, почтенный, высокого роста, седой и хотя несколько сгорбившийся, но
мускулистый старик. Он выступил вперед, снял шляпу, протянул мне широкую,
сильную руку и, сказав: "*Lie-ber Mitburger*"208, произнес приветственную речь на
таком германо-швейцарском наречии, что я ничего не понял. Приблизительно можно
было догадаться, что он мог мне сказать, а потому, да еще взяв в соображение,
что если я скрыл, что не понимаю его, то и он скроет, что не понимает меня, я
смело отвечал на его речь:

- Любезный гражданин староста и любезные шательские сограждане! Я прихожу
благодарить вас за то, что вы в вашей общине дали приют мне и моим детям и
положили предел моему бездомному скитанию. Я, любезные граждане, не за тем
оставил родину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ русский, а
Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения;
я оставил ее после ссылки, преследуемый свирепым самовластием Николая. Рука его,
достававшая меня везде, где есть король или господин, не так длинна, чтоб
достать меня в общине вашей! Я спокойно прихожу под защиту и кров ваш, как в
гавань, в которой я всегда могу найти покой. Вы, (408) граждане Шателя, вы, эти
несколько человек, вы могли, принимая меня в вашу среду, остановить занесенную
руку русского императора, вооруженную миллионом штыков. Вы сильнее его! Но
сильны вы только вашими свободными вековыми республиканскими учреждениями! С
гордостью вступаю я в ваш союз! И да здравствует Гельветическая республика!

- *Dem neuen Burger hoch!.. Es lebe der neue Burger!..*209 - отвечали старики и
крепко жали мою руку; я сам был несколько взволнован!

Староста пригласил нас к себе.

Мы вошли и сели за длинный стол, на скамьях, на столе был хлеб и сыр. Двое
крестьян втащили страшной величины бутыль, больше тех классических бутылей,
которые преют целые зимы в старинных наших домах, в углу на лежанке, наполненные
наливками и настойками. Бутыль эта была в плетеной корзине и наполнена белым
вином. Староста сказал нам, что это вино тамшнее, но только очень старое, что
эту бутыль он помнит лет за тридцать и что вино это употребляется только при
чрезвычайных случаях. Все крестьяне сели с нами за стол, кроме двух, хлопотавших
около кафедральной бутылки. Они из нее наливали вино в большую кружку, а староста
наливал из кружки в стаканы; перед каждым крестьянином был стакан, но мне он
принес нарядный хрустальный кубок, причем он заметил канцлеру и префекту:

- Вы на этот раз извините, почетный-то кубок уж нынче мы подадим нашему новому
согражданину: с вами мы свои люди.

Пока староста наливал вино в стаканы, я заметил, что один из присутствующих,
одетый не совсем по-крестьянски, был очень беспокоен, обтирал пот, краснел - ему
нездоровилось; когда же староста провозгласил мой тост, он с какой-то отчаянной
отвагой вскочил и, обращаясь ко мне, начал речь.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
– Это, – шепнул мне на ухо староста с значительным видом, – гражданин учитель в нашей школе. Я встал. (409)

Учитель говорил не по-швейцарски, а по-немецки, да и не просто, а по образцам из нарочито известных ораторов и писателей: он помянул и о Вильгельме Телле, и о Карле Смелом (как тут поступила бы австрийско-александринская театральная цензура – разве назвала бы Вильгельма Смелым, а Карла-Теллем?) и при этом не забыл не столько новое, сколько выразительное сравнение неволи с позлащенной клеткой, из которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось от него порядком, он его ставил рядом с очень облихованными людьми из римской истории. Я чуть не перервал его на этом, чтоб сказать: "Не обижайте покойников!", но, как будто предвидя, что и Николай скоро будет в их числе, промолчал.

Крестьяне слушали его, вытянув загорелую сморщившуюся шею и прикладывая в виде глазного зонтика руку к ушам; канцлер немного вздремнул и, чтоб скрыть это, первый похвалил оратора.

Между тем староста сидел не сложа руки, а усердно наливал вино, провозглашая, как самый привычный к делу церемониймейстер, тосты:

– За конфедерацию! За фрибург и его радикальное правительство! За президента Шаллера!

– За моих любезных сограждан в Шателе! – предложил я, наконец, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вк%с, далеко не слабо. Все встали... Староста говорил:

– Нет, нет, *liber Mitbirger*, полный кубок, как мы пили за вас, полный!
– Старички мои расходились, вино подогрело их...

– Привезите ваших детей, – говорил один.

– Да, да, – подхватили другие, – пусть они посмотрят, как мы живем, мы люди простые, дурному не научим, да и мы их посмотрим.

– Непременно, – отвечал я, – непременно. Тут староста уж пошел извиняться в дурном приеме, говоря, что во всем виноват канцлер, что ему следовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, – что тогда встретили бы меня и проводили ружейным залпом. Я чуть не сказал ему я *la Louis-Philippe*: "Помилуйте... да что же случилось? – Одним крестьянином только больше в Шателе!" (410)

Мы расстались большими друзьями. Меня несколько удивило, что я не видел ни одной женщины, ни старухи, ни девочки, да и ни одного молодого человека. Впрочем, это было в рабочую пору. Замечательно и то, что на таком редком для них празднике не был приглашен пастор.

Я им это поставил в большую заслугу. Пастор непременно испортил бы все, сказал бы глупую проповедь и с своим чинным благочестием похож был бы на муху в стакане с вином, которую непременно надобно вынуть, чтоб пить с удовольствием.

Наконец, мы снова уселись в небольшую коляску, или, вернее, линейку, канцлера, завезли префекта в Мора и покатались в фрибург. Небо было покрыто тучами, меня клонил сон и кружилась в голове. Я усиливался не спать. "Неужели это их вино?" – думал я с некоторым презрением к самому себе... Канцлер лукаво улыбался, а потом сам задремал; дождь стал накрапывать, я покрылся пальто, стал было засыпать... потом проснулся от прикосновения холодной воды... дождь лил как из ведра, черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, дальние раскаты грома пересыпались по горам. Канцлер стоял в сенях и громко смеялся, говоря с хозяином *Zoringer Hofa*.

– Что, – спрашивал меня хозяин, – видно, наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

– Да неужели мы приехали? – спрашивал я, выходя весь мокрый из линейки.

– Это не так мудрено, – заметил канцлер, – а вот что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слышали?

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Ничего.

Потом я узнал, что простые швейцарские вина, вовсе не крепкие на вкус, получают с летами большую силу и особенно действуют на непривычных. Канцлер нарочно мне не сказал этого. К тому же, если б он и сказал, я не стал бы отказываться от добродушного угощения крестьян, от их тостов и еще менее не стал бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступил, доказывается тем, что через год, проездом из Берна в Женеву, я встретил на одной станции моратского префекта. (411)

- Знаете ли вы, - сказал он мне, - чем вы заслужили особенную популярность наших шательцев?

- Нет.

- Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивши их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мора до Фрибурга, под проливным дождем.

Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской конфедерации и напился пьян шательским вином!210

ГЛАВА XL I

П.-ж. Прудон. - Издание "La Voix du Peuple". - Переписка. - Значение Прудона. - Прибавление.

Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял - герцога Альбу июньских дней - Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: "А ты молчи, ты слишком беден, чтобы иметь право на слово!"

Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судебных уловок. Началась старая травля, par force211 редакторов, - травля, в которой отличались министры Людовика-Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется из залога; пока залог не дополнен - нельзя издавать журнал, как он пополнится - новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством. (412)

Ледрю-Рюллен сначала, потом полковник Фрапполл как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли "Реформу". Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов "Le Representant du Peuple", потом его же "Le Peuple". Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой,

Одного из редакторов, помнится Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в ассизы по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал:

"Laddition, sil vous plait?"212 - ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафу.

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. Национальная гвардия ворвалась в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластья.

Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: "La Voix du Peuple". Надобно было достать двадцать четыре тысячи франков для залога. Э. Жирарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог.

Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога не надолго станет.

Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон – по преимуществу диалектик, контро-верзист²¹³ социальных вопросов. Французы в нем ищут эксперименталиста и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарской упрямы. благочиния, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.

Прудон, конечно, виноват, поставив в своих "Противоречиях" эпиграфом: "Destruam et aedificabo"²¹⁴; (413) гила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все, ломавшие старое:

человеку одно разрушение противно; когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену.

В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недостигаемы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь одностороннее решение, а то, что, достигая до них, становится вопросом. Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.

В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта-страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель-с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнул в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.

Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить, что попадется, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм... Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой, (414)

Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот. родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера-для него это орудия, которыми он пытается свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.

- Мне очень нравится ваша система, - сказал Прудону один английский турист.

- Да у меня нет никакой системы, - отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав.

Это-то именно и сбивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басни, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам.

Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умиравшему не поможешь, строя идеальную теорию о том, как он мог- бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо.

Наружные признаки и явления финансового мира служат для него так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни: он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать, – мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит: "Лекарства! лекарства! или молчи о болезни!" Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых на войне. Лекарство, видно, нелегко находится; мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793: ее лечили победами и усиленными моциями, заставляя (415) ходить в Египет, в Россию, ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой и маленьким Наполеоном – что же, лучше, что ли, стало? Сам Прудон попробовал было раз свою патологию и срезался на Народном банке, – несмотря на то, что сама по себе взятая, идея его верна. По несчастью, он в заговаривание не верит, а то и он причитывал бы ко всему:

"Союз народов! Союз народов! Всеобщая республика! Всемирное братство! Grande armee de la democratie!"²¹⁵ Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и за то французы его считают эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения "О собственности" до "Биржевого руководства"; многое изменилось в его мыслях, – еще бы, прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт а мо11-ный, как Платон Михайлович в "Горе от ума". В этих переменах именно и бросается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии до недавно вышедшего *carmen horrendum*²¹⁶ биржевого распутства, тот же порядок мыслей, развиваясь, видоизменяясь, отражая события, идет и через "Противоречия" политической экономии, и через его "Исповедь", и через его "журнал".

Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму; они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающем все, что жизнь вносит нового... или по крайней мере не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верною себе, иначе она не была бы живой истиной, а истиной вечной, успокоившейся от тревожений мира сего – в мертвой тишине святого застоя²¹⁷. (416)

Где и в каком случае, случилось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломатии. За политические ошибки он, как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед" собой; напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, "чем партии, к которой он поневоле принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был собственно соединен только ненавистью к общему врагу.

Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облекал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив, везде ясно видно, что политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу; я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп.

Без сомнения, не место было Прудона в Народном собрании так, как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе. Прудон в своей "Исповеди революционера" говорит, что он не умел найтиться в Собрании. Да что же мог там делать человек, который Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов, сказал:

"Я подаю голос против вашей конституции не. только потому, что она дурна, но и потому, что она – конституция".

Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: "Речь – в "Монитер", оратора – в сумасшедший дом!" Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов, – с тех пор как александрийский архиерей возил с собой на вселенские (417) соборы каких-то послушников, вооруженных во имя богородицы

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru дубинами, и до вашингтонских сенаторов, доказывающих друг другу палкой пользу рабства.

Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять середь перебранок яркий след.,

Тьер, отвергая финансовый проект Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие уяения. Прудон взошел на трибуну и с своим грозным и сутуловатым видом коренастого жителя полей сказал улыбающемуся старичишке:

- Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я... я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся). Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом, каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!

Глаза всех обратились на Тьера: он сидел нахмуренный, и улыбки совсем не было, да и ответа тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила, - в этих словах резко слышится язык нового мира, идущего с своим судом и со своими казнями.

С февральской революции Прудон предсказывал то, к чему Франция пришла; да тысячу ладов повторял он:

"Берегитесь, не шутите, это не Катилина у ворот ваших, а смерть". Французы пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры²¹⁸ - всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это "минутное затмение, послеобеденный сон великого народа!" Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел; тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду. Говорят, что китайский император таскает ежегодно за хохол придворного (418) звездочета, когда тот ему докладывает, что дни начинают убывать.

Гений Прудона действительно антипатичен французским риторам, его язык оскорбляет их. Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергают написанные не по форме точно так, как русские судьи. Их критика останавливается перед их символическими книгами вроде "Contrat social"²¹⁹, "Объявления прав человека". Люди веры - они ненавидят анализ и сомнения; люди заговоров-они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник, они даже в прошедшем не любят самобытных мыслей. Луи Блан почти досадует на эксцентрический гений Монтеня²²⁰. На этом галльском чувстве, стремящемся снять личность стадом, основано их пристрастие к приравниванию, к единству военного строя, к централизации, то есть к деспотизму.

Кошунство француза и резкость суждений - больше шалость, баловство, удовольствие подразнить, чем потребность разбора, чем сосущий душу скептицизм. У него бездна маленьких предрассудков, крошечных религий- за них он стоит с запальчивостью Дон Кихота, с упрямством раскольника. Оттого-то они и не могут простить ни Монтеню, ни Прудону их вольнодумство и непочтительность к общепринятым кумирам. Они, как петербургская цензура, позволяют шутить над титулярным советником, но тайного-не тронь. В 1850 году Э. Жирарден напечатал в "Прессе" смелую и новую мысль, что основы права не вечны, а идут, изменяясь с историческим развитием. Что за шум возбудила эта статья- брань, крик, обвинения в безнравственности продолжались, с легкой руки "Gazette de France", месяцы.

Участвовать в восстановлении такого органа, как "Peuple", стоило пожертвований, - я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог.

До того времени мои сношения с Прудоном были ничтожны; я встречал его раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, (419) в Rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всемогущие бдения

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в Rue de Bour-gogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем, им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes²²¹ его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь-Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

Боясь сначала смиренной роли наших соотечественников и патронажа великих людей, я не старался сблизиться даже с самим Прудоном и, кажется, был не совершенно неправ. Письмо Прудона ко мне, в ответ на мое, было учтиво, но холодно и с некоторой, сдержанностью.

Мне хотелось с самого начала показать ему, что он не имеет дела ни с сумасшедшим prince russe, который из революционного дилетантизма, а вдвое того из хвастовства дает деньги, ни с правоверным поклонником французских публицистов, глубоко благодарным за то, что у него берут двадцать четыре тысячи франков, ни, наконец, с каким-нибудь тупоумным bailleur de fonds²²², который соображает, что внести залог за такой журнал, как "Voix du Peuple", - серьезное помещение денег. Мне хотелось показать ему, что я очень знаю, что делаю, что имею свою положительную цель, а потому хочу иметь положительное влияние на журнал;

принявши безусловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всею иностранною частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и проч., требовать для последних плату за помещенные статьи; это может показаться странным, но я могу уверить, что "National" и "Реформа" от(420)крыли бы огромные глаза, если б кто-нибудь из иностранцев смел спросить денег за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помешательство, как будто иностранцу видеть себя в печати в парижском журнале не есть:

Lohn der reichlich lohnet²²³.

Прудон согласился на мои требования, но все же они покоробили его. Вот что он писал мне 29 августа 1849 года в Женеву: "Итак, дело решено: под моей общей дирекцией вы имеете участие в издании журнала, ваши статьи должны быть принимаемы без всякого контроля, кроме того, к которому редакцию обязывает уважение к своим мнениям и страх судебной ответственности. Согласные в идеях, мы можем только расходиться в выводах, что же касается до обсуждения заграничных событий, мы их совсем предоставляем вам. Вы и мы - миссионеры одной мысли. Вы увидите наш путь по общей полемике, и вам надобно будет держаться его; я уверен, что мне никогда не придется поправлять ваши мнения; я это счел бы величайшим несчастьем, скажу откровенно, весь успех журнала зависит от нашего согласия. Надобно вопрос демократический и социальный поднять на высоту предприятия европейской лиги. Предположить, что мы не будем согласны друг с другом, значит предположить, что у нас недостает необходимых условий для издания журнала и что нам было бы лучше молчать".

На эту строгую депешу я отвечал высылкою двадцати четырех тысяч франков и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым; я говорил, насколько я теоретически согласен с ним, прибавив, что я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание - возвещать ему его близкую кончину. "Ваши соотечественники далеки от того, чтобы разделять эти идеи. Я знаю одного свободного француза - это вас. Ваши революционеры-консерваторы. Они христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации и переворота на высот/ науки, и вы первые сказали Франции, что нет спасения (421) внутри разваливающегося здания, что и спасти из него нечего, что самые его понятия о свободе и революции проникнуты консерватизмом и реакцией. Действительно, политические республиканцы составляют не больше как одну из вариаций на ту же конституционную тему, на которую играют свои вариации Гизо, Одилон Барро и другие. Вот этот взгляд следовало бы проводить в разборе последних европейских событий, преследовать реакцию, католицизм, монархизм не в ряду наших врагов - это чрезвычайно легко, - но в собственном нашем стане. Надобно обличить круговую поруку демократов и власти. Если мы не боимся затрогивать победителей, то не будем бояться из ложной сентиментальности затрогивать и побежденных.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
я глубоко убежден, что если инквизиция республики не убьет наш журнал, - это будет лучший журнал в Европе". Я и теперь в этом убежден. Но как же мы с Прудонем могли думать, что вовсе не церемонное правительство Бонапарта допустит такой журнал? Это трудно объяснить.

Прудон был доволен моим письмом и 15 сентября писал мне из Консьержри: "Я очень рад, что встретился с вами на одном или на одинаковом труде; я тоже написал нечто вроде философии революции²²⁴ под заглавием "Исповедь революционера". Вы в ней, может, не найдете вашего варварского задора (verve barbare), к которому вас приучила немецкая философия. Не забывайте, что я пишу для французов, которые со всем своим революционным пылом, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов выше самых высоких вершин нашего журнального, академического и литературного мира; меня еще станет на десять лет, чтобы быть великаном между ними,

- Я совершенно разделяю ваше мнение насчет так называемых республиканцев; разумеется, это один вид общей породы доктринеров. Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга. Во мне и в моих сотрудниках вы найдете людей, которые пойдут с вами рука в руку... (422)

Я также думаю, что методический, мирный шаг, незаметными переходами, как того хотят экономические науки и философия истории, невозможен больше для революции; нам надобно делать страшные скачки. Но в качестве публицистов, возвещая грядущую катастрофу, нам не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то нас возненавидят и будут гнать, а нам надобно жить..."

Журнал пошел удивительно. Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздражения, которое тюрьма раздувает.

"Кто вы такой, г. президент? - пишет он в одной статье, говоря о Наполеоне, - скажите - мужчина, женщина, гермафродит, зверь или рыба?" И мы все еще думали, что такой журнал может держаться?

Подписчиков было немного, но уличная продажа были велика, в день продавалось от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч экземпляров. Расход особенно замечательных номеров, например, тех, в которых помещались статьи Прудона, был еще больше, редакция печатала их от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч, и часто на другой день экземпляры продавались по франку вместо одного су²²⁵.

Но со всем этим к 1 марту, то есть через полгода, не только в кассе не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафов. Гибель была неминуема. Прудон значительно ускорил ее. Это случилось так: раз я застал у него в С.-Пелажи Дальтон-ше и двух из редакторов. Дальтон-ше - тот пэр Франции, который скандализовал Пакье и испугал всех пэров, отвечая с трибуны на вопрос:

.- Да разве вы не католик?

- Нет, но еще больше, я вовсе не христианин, да и не знаю, деист ли.

Он говорил Прудону, что последние номера "Voix du Peuple" слабы; Прудон рассматривал их и становился все угрюмее, потом, совершенно рассерженный, обратился к редакторам: (423)

- Что же это значит? Пользуясь тем, что я в тюрьме, вы спите там в редакции. Нет, господа, эдак я откажусь от всякого участия и напечатаю мой отказ, я не хочу, чтоб мое имя таскали в грязи, у вас надобно стоять за спиной, смотреть за каждой строкой. Публика принимает это за мой журнал, нет, этому надобно положить конец. Завтра я пришлю статью, чтоб заглавить дурное действие вашего маранья, и покажу, как я разумею дух, в котором должен быть наш орган.

Видя его раздражение, можно было ожидать, что статья будет не из самых умеренных, но он превзошел наши ожидания, его "Vive l'Empereur!"²²⁶ был дифирамб иронии-иронии ядовитой, страшной.

Сверх нового процесса правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели в скверную комнату, то есть дали гораздо худшую, в ней забрали окно до половины досками, чтоб нельзя было ничего" видеть, кроме неба, не велели к нему пускать

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru никого, к дверям поставили особого часового. И эти средства, неприличные для исправления шестнадцатилетнего шалуна, употребляли семь лет тому назад с одним из величайших мыслителей нашего века! Не поумнели люди со времени Сократа, не поумнели со времени Галилея, только стали мельче. Это неуважение к гению, впрочем, явление новое, возобновленное в последнее десятилетие. Со времени Возрождения талант становится до некоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами, их посылают на эшафот, но не в рабочий дом.

Буржуазно-императорская Франция любит равенство.

Гонимый Прудон еще рванулся в своих цепях, еще сделал усилие издавать "Voix du Peuple" в 1850; но этот опыт был тотчас задушен. Мой залог был схвачен до копейки. Пришлось замолчать единственному человеку во Франции, которому было еще что сказать.

Последний раз я виделся с Прудоном в С.-Пелажи, меня высылали из Франции, - ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы с ним, не было (424) ни тени близкой надежды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось.

Я много слышал о его жесткости, rudesse²²⁷, нетерпимости, на себе я ничего подобного не испытал. То, что мягкие люди называют его жесткостью - были упругие мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли; в гневе он напоминал сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Крупионом. Он знал, что я его понимаю, знал и то, как немногие его понимают, и ценил это. Он знал, что его считали за человека мало экспансивного и, услышав от Мишле о несчастьи, постигшем мою мать и Колю, он написал мне из С.-Пелажи между прочим: "Неужели судьба еще и с этой стороны должна добивать нас? Я не могу прийти в себя от этого ужасного происшествия. Я вас люблю и глубоко ношу вас здесь, в этой груди, которую так многие считают каменной".

С тех пор я не видал его²²⁸; в 1851 году, когда я, по милости Леона Фоше, приезжал в Париж на несколько дней, он был отослан в какую-то центральную тюрьму. Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.

У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим, тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную жизнь и на значение женщины вообще.

- Как счастлив наш N. - говаривал Прудон шутя, - у него жена не настолько глупа, чтоб, не умела приготовить хорошего pot au feu²²⁹, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья.

В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но и в них выражается не мешанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского pater familiasa²³⁰, гордо (425) считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение "О справедливости в церкви и в революции".

Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое... тяжкое время!.. Разлагающий воздух его одуряет сильнейших...

И этот "ярый боец" не выдержал, надломился; в его последнем труде я вижу ту же мощную диалектику, тот же размах, но она приводит уже его к прежде задуманным результатам; она уже не свободна в последнем слове. Я под конец книги следил за Прудоном, как Кент следил за королем Лиром, ожидая, когда он образумится, но он заговаривался больше и больше, - такие же припадки нетерпимости, необузданной речи, как у Лира, и так же "Every inch"²³¹ обличает талант, но... талант "тронутый". И он бежит с трупом - только не дочери, а матери, которую считает живой!²³²

Романская мысль, религиозная в самом отрицании, суеверная в сомнении, отвергающая одни авторитеты во имя других, редко погружалась далее, глубже in medias res²³³ действительности, редко так диалектически смело и верно снимала с себя все пути, как в этой книге. Она отрешилась в ней не только от грубого дуализма религии, но и от ухищренного дуализма философии; она освободилась не только от небесных привидений, но и от земных; она перешагнула через сентиментальную апотеозу человечества, через фатализм прогресса, у ней нет тех неизменяемых литий о братстве, демократии и прогрессе, которые так жалко утомляют среди раздора и насилия. Прудон пожертвовал пониманию революции ее идолами, ее языком и перенес нравственность на единственную реальную почву грудь человеческую, признающую один разум и никаких кумиров, "разве его". (426)

И после всего этого великий иконоборец испугался освобожденной личности человека, потому что, освободив ее отвлеченно, он впал снова в метафизику, придал ей небывалую волю, не сладил с нею и повел на закла-viie. богу бесчеловечному, холодному богу справедливости, богу равновесия, тишины, покоя, богу браминов, ищущих потерять все личное и распуститься, опочить в бесконечном мире ничтожества.

На пустом алтаре поставлены весы. Это будут новые каудинские фуруклы для человечества.

"Справедливость", к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не изящное уравнивание страстей и жертв. Галльский трибун ничего не берет из "анархической и легкомысленной Греции", он стоически попирает ногами личные чувства, а не ищет согласовать их с требой семьи и общины. "Свободная" личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу, потому что она - не она, ее смысл, ее сущность вне ее, она - орган справедливости, она предназначена, как дева Мария, носить в мучениях идею и водворить ее на свет для спасения государства.

Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья, в современной мастерской, - идеал Прудона. Христианство слишком изнежило семейную жизнь, оно предпочло Марию - Марфе, мечтательницу - хозяйке, оно простило согрешившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а в Прудоновой семье именно надобно мало любить, и это не все: христианство гораздо выше ставит личность, чем семейные отношения ее. Оно сказало сыну:

"Брось отца и мать и иди за мной", - сыну, которого следует, во имя воплощения справедливости, снова заковать в колодки безусловной отцовской власти, - сыну, который не может иметь воли при отце, пуще всего в выборе жены. Он должен закалиться в рабстве, чтоб в свою очередь сделаться тираном детей, рожденных без любви, по долгу, для продолжения семьи. (427) В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак собственно победа над любовью, чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше. И эти старые, изношенные пугала из гегелизма правой стороны пришлось-то мне еще раз увидеть под пером Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария, - труд, от которого по крайней мере была свободна аристократическая семья древнего Рима, основанная на рабстве; нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упования рая, даже и стихов к тем порам "не будут больше писать", по уверению Прудона, зато работа будет "увеличиваться". За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным убаюкиванием, но пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости, - что это за вздор!

Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука, сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:

- Да из чего же мы это выбиваемся из сил?

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- Для торжества справедливости, - скажет ему Прудон.

А новый Каин ответит ему:

- Да кто же мне поручил торжество справедливости?

- Как кто? - разве все призвание твое, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?

- Кто же поставил эту цель?-скажет на это Каин. - Это слишком старо, бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать-не длг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической традиции; или вы думаете, что после взятия Бастилии, (428) после террора, после войны и голода, после короля мещанина и мещанской республики я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтеки и Капулетти длили вековую ссору и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?

А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие о цели у Прудона совершенно непоследовательно. Телеология-это тоже теология, это - февральская республика, то есть та же Июльская монархия, но без Людовика-филиппа. Какая же разница между predetermined целесообразностью и промыслом?234

Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные, ticket of leave235, не наделали бед, он ловит их в капкан римской семьи.

В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пепат видится уже не анархия, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за, наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чем все пороки вместе.

Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть "француз, живущий в России,-говорит Прудон,-русский, а не француз". Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя...

"Голландия не погибнет, - сказал Вильгельм Оранский в страшную годину, она сядет на корабли и (429) уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины. Вот какие народы бывают свободны.

Так и англичане; как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция-одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны; Франция довольна собой и лепится все больше и больше к своему средоточию, а средоточие - к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?

А, с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France?236 "Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык-не лучший язык, ее литература-не лучшая литература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гексаметра?" К тому же ее всемирный гений усваивает себе и мысль и творение всех времен и стран: "Шекспир и Кант, Гёте и Гегель-разве не сделались своими во Франции?" И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда их берут во двор.

Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва "бизантинских"²³⁷ архиереев как раз пришлась архиерею социализма!

Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме разума, хотел остаться не только мужем вроде Синей Бороды, но и французским националистом—с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслью свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь. (430)

Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на освобождение он иногда находит, на свободу—никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один — какую-то мандаринскую иерархию, другой—свою каторжную семью и апотеозу бесчеловечного *pereat mundus — fiat justicial*²³⁸

РАЗДУМЬЕ ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ

I

С одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный брак, нераздельность отцовской власти,—семья, в которой для общественной цели лица гибнут, кроме одного, свирепый брак, в котором признана неизменяемость чувств, кабала обету; с другой—возникающие ученья, в которых брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц.

С одной стороны, женщина, чуть не побиваемая камнями за измену, с другой—самая ревность, поставленная hors la loi²³⁹, как болезненное, искаженное чувство эгоизма, проприетаризма²⁴⁰ и романтического ниспровержения здоровых и естественных понятий.

Где истина... где диагональ? Двадцать три года тому назад я уже искал выхода из этого леса противоречий²⁴¹.

Мы смелы в отрицании и всегда готовы толкнуть всякого перуна в воду—но перуны домашней и семейной жизни как-то water-proof²⁴², они все "выдыбаются". Может, в них и не осталось смысла, — но жизнь осталась; видно, орудия, употребляемые против них, только скользнули по их змеиной чешуе, уронили их, оглушили... но не убили. (431)

Ревность... Верность... Измена... Чистота... Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови, — слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме... и притом слова, под которыми, как под дамочловым мечом—жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за углом и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальнее, губить нас самих...

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и совершенно естественная страсть — она до сих пор, вместо обуздания, —укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii²⁴³, право суда и мести. Она сделалась долгом чести, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики—но затем все же на дне души остается очень реальное и несокрушимое чувство боли, несчастья, называемое ревностью,—чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию,—чувство "ирредуктибельное"²⁴⁴.

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фурукулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон правда. с обеих – ложь. Бойким entweder – oder²⁴⁵ и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания одного из терминов, он возвращается, так как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

Гегель снимал эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в безусловный дух; в нем они не исчезали, а преображались, исполнялись, как выра⁽⁴³²⁾жалась немецкая теологическая наука, – это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются искуплениями, то есть священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположное личной воли и необходимости, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

Сам Прудон поступил, в другом порядке вопросов, гораздо человечественнее немецкой науки. Он выходит из экономических противоречий тем, что признает обе стороны под обузданием высшего начала. Собственность–право и собственность–краяса становятся рядом, в вечном колебании, в вечном восполнении, под постоянно растущим миродержавием справедливости. Ясно, что противоречия и спор переносятся в другую сферу и что к отчету требовать приходится понятие Справедливости больше, чем право собственности.

Чем высшее .начало проще, менее мистично и менее односторонне, чем оно реальнее и прилагаемое, тем полнее оно сводит термины противоречащие на их наименьшее выражение.

Безусловный, "перехватывающий" дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом" развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, в развитии общих интересов.

Радикально уничтожить ревность значит уничтожить любовь к лицу, заменяя ее любовью к женщине "ли к мужчине, вообще любовью к полу. Но именно только личное, индивидуальное и нравится, оно-то и дает колорит, tonus²⁴⁶, страстность всей нашей жизни. "Наш лиризм-личный, наше счастье и несчастьеличное счастье и несчастье. Доктринаризм со всей (433) своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб они лились человечески... и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника²⁴⁷.

II

Свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. И то и другое может встретиться на окраинах половых и брачных отношений как частный случай, как исключение, но не как общее правило. Половое отношение перервется или будет постоянно стремиться к более тесному и прочному соединению так, как нерасторгаемый брак – к освобождению от внешней цепи.

Люди постоянно протестовали против обеих крайностей. Нерасторгаемый брак был принимаем ими лицемерно или сгоряча. Случайная близость никогда не имела полной инвеституры, ее всегда скрывали так, как (434) хвастались браком. Все попытки официальной регламентации публичных домов, несмотря на то, что они имеют в виду их стеснение, оскорбляют общественный, нравственный смысл. Он в устройстве видит признание. Проект, сделанный одним господином в Париже, во время Директории, о заведении привилегированных публичных домов, с своей иерархией и прочим, был даже в те времена принят свистом и пал под громом смеха и пренебрежения.

Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
бесполья инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного
удовлетворения страстей...

Брак для христианства – уступка, непоследовательность, слабость. Христианство
смотрит на брак так, как общество на конкубинат²⁴⁸.

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую
победу свою над человеческой природой.

Вообще христианский брак мрачен и несправедлив, он восстанавливает неравенство,
против которого проповедует евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена
.пожертвована, любовь (ненавистная церкви) жертвована, выходя из церкви, она
становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого,
радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому
приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь
протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением
совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар,
католичества и рыцарства.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и
беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои
лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и где-нибудь в
башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не
вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская
молитва в нос (435)

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика... стоящих на страже брака с
грозным мужем, отцом, братом, – слагается в тиши народная легенда, раздается
песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером –
она поет за несчастную женщину. Суд разит – песня отпускает. Церковь предаст
анафеме любовь вне брака. – песня проклинает брак без любви. Она защищает
влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием,
жалостью, плачем. – Песня для народа – его светская молитва, его другой выход из
голодной, холодной жизни" душной тоски и тяжелой работы.

В праздничные дни литании богородице сменялись печальными звуками des
complaintes²⁴⁹, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее
и ставили перед всех скорбящей девой, прося ее заступы и прощенья.

Из песен и легенд протест растет в роман и драму. В драме оно становится силой.
Обиженная любовь, мрачные тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой
публичный суд. Процесс их потрясал тысячи сердец, вырывая слезы и крики
негодования против кабального брака и насильственно скованной семьи. Присяжные
партера и лож произносили постоянно свое оправдание лицам и осуждение
институтам.

Между тем в эпоху политических перестроек и светского направления умов одна из
двух крепких ножек брака стала подламываться. Переставая все более и более быть
тайнством, то есть теряя последнюю основу свою, он тем больше опирался на
полицию. Только мистическим вмешательством высшей силы и может быть оправдан
христианский брак. Тут есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный,
надевающий на себя трехцветный шарф и венчающий с гражданским кодексом в руке,
гораздо нелепее священника в ризе, окруженного дымом ладана, образами, чудесами.
Сам первый консул Наполеон – самый буржуазно-прозаический человек в деле любви и
семьи, догадался, что брак на съезжей больно плох, и уговаривал Камбасереса
прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно (436) такую,
которая поучала бы новобрачную, что она обязана быть верной мужу (о нем ни
слова) и слушаться его.

Как скоро брак выходит из сфер мистицизма – он делается expedient²⁵⁰ внешней
мерой. Ее ввели испуганные "Синие Бороды", обрившиеся и сделавшиеся "синими
подбородками", Раули в судейских париках, академических фраках, народные
представители и либералы, попы кодекса. Гражданский брак – мера государственного
хозяйства, освобождение государства от воспитания детей и вящее прикрепление
людей к собственности. Брак без вмешательства церкви сделался кабальным
контрактом на пожизненное отдание своего тела друг другу. До веры, до

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru мистических бредней законодателю дела нет, лишь бы контракт был исполнен, а не будет исполнен, он найдет средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? В Англии, в классической стране юридического развития, подвергают же страшнейшим истязаниям шестнадцатилетнего мальчика, которого старый казарменный сводник, с лентами на шляпе, напоит элем и джином и завербует в полк. Отчего же не наказывать позором, разорением, выдачей головой девочку, которая, не давая себе отчета в том, что делает, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra251, забывая, что season ticket252 не передается.

Но и на "синий подбородок" нашлись свои труверы и романисты. Против контрактного брака водрузился догмат психиатрический, физиологический, догмат абсолютной непреложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними.

Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет.

Затем стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения.

Мнимые силы, если люди их принимают за действительные. точно так же мощны, как и действительные, и (437) это потому, что материал, даваемый человеком, тот же – какая бы сила ни была. Человек, который боится духов, и человек, который боится бешеных собак, – боится одинаким образом и может умереть от страха. Разница в том, что в одном случае человеку можно доказать, что он боится вздора, а в другом – нельзя.

Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением.

Неужели мы освободились от всего на свете: от бога и дьявола, от римского и уголовного права – и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы или уснуть на коленях Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони вместо одного?

Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратно точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше загнана в любовь... Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Мне ее жаль.

III

Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрассудки в женском воспитании? Их разбивает опыт, и оттого-то ломится не предрассудок, а жизнь.

Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбище или места, на которых совершилось злодейство. Одни боятся нечистых духов, другие – чистой правды и остаются при фантастическом неустройстве и неисследованной тьме. Серьезного единства во взгляде на половые отношения так же мало, как во всех практических сферах. Все еще мерещится возможность соединить христианскую нравственность, идущую от покаяния плоти на тот свет, с земной, реальной нравственностью этого света. С досады, что не ладится и чтоб не долго мучить себя (438) над разрешением вопросов, люди оставляют по выбору и по вкусу то, что им нравится из церковного учения, и бросают то, что не нравится, на том самом основании, на котором, не соблюдая постов, усердно едят блины, и, не оставляя веселых религиозных обычаев, устраняются от скучных. А кажется, давно пора внести больше спетости и мужества в поведение. Пусть уважающий закон остается подзаконным и не нарушает его, а не принимающий свободным от него открыто и сознательно.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще отступаются и ломают голову и сердце – чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее.

С детских лет девушка испугана половым отношением, какой-то страшной, нечистой тайной, от которой ее предостерегают, отстраивают, как будто этот грех имеет какую-то чарующую силу. И потом то же чудовище, то же magnum ignotum²⁵³, пятнающее неизгладимым пятном, дальнейший намек на которое заставляет краснеть и позорит – ставится целью ее жизни. Мальчику, едва умеющему ходить, дают жестяную саблю, приучая его к убийству, ему пророчат гусарский мундир и эполеты, девочку убаюкивают надеждой богатого, красивого жениха, и она мечтает об эполетах, но не на своих плечах, а на плечах суженого.

Dors, dors, mon enfant,

Jusqua l'age de quinze ans,

A quinze ans faut te reveiller,

A quinze ans faut te marier²⁵⁴.

Надобо дивиться хорошей человеческой натуре, не поддающейся такому воспитанию, – следовало бы ожидать, что все девочки, так убаюканные, с пятнадцати лет пустятся на ускоренную замену убитых мальчиками, приученными с детства к смертоносным оружием.

Христианское учение вселяет ужас перед "плотью" прежде, чем организм сознает свой пол: оно будит в ре(439)бейке опасный вопрос, бросает тревогу в отроческую душу, и, когда приходит время ответа, – другое учение возводит, как мы сказали, для девушки половое назначение в искомый идеал; ученица становится невестой, и та же тайна, тот же грех, но очищенный, является венцом воспитанья, желанием всех родных, стремлением всех усилий, чуть не общественным долгом. Искусства и науки, образование, ум, красота, богатство, грация – все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь к официальному падению... к тому же греху, мысль о котором считалась преступлением, но которое изменило свою сущность тем чудом, которым папа, взалкавши на дороге, благословил скромное блюдо в постное.

Словом, отрицательно и положительно все воспитание женщины остается воспитанием половых отношений, около них вертится вся ее последующая жизнь... от них она бежит, к ним она бежит, ими опозорена, ими гордится... Сегодня хранит отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подруге, краснея, шепотом говорит о любви, завтра при блеске и шуме, при толпе, зажженных люстрах и громе музыки бросается в объятия мужчины.

Невеста, жена, мать – женщина едва под старость, бабушкой, освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно, если дедушка умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее... беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви, в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, – не разрывается.

На это физиологически крепкое и глубокое отношение христианство дуло своим лихорадочным, монашеским аскетизмом, своими романтическими бреднями и раздуло его в безумное и разрушительное пламя – ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщине из этого хаоса – геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день от случайности к случайности и от противоречия к противоречию, (440)

Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобо иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!

я видел одну борьбу и одну победу...

ГЛАВА XLII

Coup d'Etat. – Прокурор покойной республики. – Глас коровий в пустыне. Высылка прокурора. – Порядок и цивилизация торжествуют.

"Vive la mort²⁵⁵, друзья! И с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения.

Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надобно ее поднять – мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением утраченных событиями в Париже".

("Письма из Франции и Италии" письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1831.)

Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Pasquale Rossa и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что "Бонапарт разогнал Собрание и назначил красное правительство". Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне Франции (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе – не знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов, политических кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило? (441)

Через час явились Фогт, Орсини, Хоецкий, Матьё и другие, – все были удивлены... Матьё, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя.

Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, то есть с черепом чисто галльским, непомерным, но упрямым, с большой, темной и нечесаной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами – Матьё походил на пророка, на юродивого, на авгура и на его птицу. Он был юрист и в счастливые дни февральской республики был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей: он отдался революции, так, как отдаются религии, с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю-Роллена – "Ледрррю" и Луи-Блана – Бланом просто, говорил, когда мог, "сi toyen" и постоянно конспирировал.

Получивши весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через два дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась, que se la chauffe²⁵⁶ и особенно на юге, в Барском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтоб войти в сношения с представителями восстания... кой-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя Вар на известном месте, собрать на совещание людей важных и надежных... Но, чтоб жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы "коровьим мычанием". Если дело пойдет на лад, Орсини хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матьё, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, верный своей революционной и немного кон-дотьерской натуре, стал готовить своих товарищей и оружие. Матьё пропал.

Через сутки ночью меня будит Рокка, часа в четыре:

– Два господина, прямо с дороги, им очень нужно, говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку – "Гражданин, бога ради, как можно скорее, вручите подателю триста или четыреста франков, крайне нужно. Матьё".

Я захватил деньги и сошел вниз: в полумраке сидели у окна две замечательные личности; привычный ко всем мундирам революции, я все-таки был поражен посетите(442) лями. Они были покрыты грязью и глиной с колен до пяток, на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих – затасканные пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное – как следует: включенные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав "сi toyen", произнес речь, в которой коснулся до моих цивических добродетелей я до денег, которые ждет Матьё. Я отдал деньги.

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru

- Он в безопасности?—спросил я.
- Да, - отвечал его посол, - мы сейчас идем к нему за Вар. Он покупает лодку.
- Лодку? зачем?
- Гражданин Матьё имеет план высадки, - гнусный трус лодочник не хотел дать внаем лодку...
- Как, высадку во Франции... с одной лодкой?."
- Пока, гражданин, это тайна.
- *Comme de raison*257.
- Прикажете расписку?
- Помилуйте, зачем.

На другой день явился сам Матьё, точно так же по уши в грязи... и усталый до изнеможения; он всю ночь мычал коровой, несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальни, а Матьё носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать.

Началась история лодки. Долго ля до греха, - сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев, Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью, - можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французоз, но и нас всех в Ницце. Хоецкий взялся его угомонить и сделал это артистом.

Окно Хоецкого, с небольшим балконом, выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матьё, бродящего с таинственным видом по берегу моря... Хоецкий стал ему делать знаки; Матьё увидел и показал, что сейчас придет к нему, но Хоецкий выразил страшнейший ужас - теле(443)графировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтоб он подошел к балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочках, подкрался.

- Вы не знаете? - спросил его Хоецкий.
- Что?
- В Ницце взвод французских жандармов.
- Что вы?!
- Ш-ш-ш-ш... Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас домовый обыск вас сейчас схватят, не выходите на улицу.
- *violation du territoire*...258 я буду протестовать.
- Непременно, только теперь спасайтесь.
- я в St.-Helene к Герцену.
- С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки, дача его на границе, с огромным садом, и не проведает, как возьмут - да и Рокка видел уже вчера двух жандармов у ворот.

Матьё задумался.

- Идите морем к Фогту, спрячьтесь у него покаместь, он, кстати, всего лучше вам даст совет.

Матьё берегом моря, то есть вдвое дальше, пошел к Фогту и начал с того, что

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru рассказал ему от доски до доски разговор с Хоецким. Фогт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему:

- Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вам через два часа надобно ехать в Турин- за горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой.

- Я сбегая домой за пожитками... - и прокурор республики несколько замялся.

- Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме, за вами следят жандармы, агенты, шпионы... а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, экой Селадон! Дворник! - закричал Фогт (дворник его дома был крошечный немец, уморительный, похожий на давно не мытый кофейник и очень преданный Фогту). - Пишите скорее, что вам нужна рубашка, платок, платье, он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею. целуйтесь и плачьте, сколько хотите.

Матьё от избытка чувств обнял Фогта.

Пришел Хоецкий. (444)

- Торопитесь, торопитесь, - говорил он с зловещим видом.

Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея - осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.

- Вы, верно, опять режете гнилых собак или кроликов? - спросил Хоецкий у Фогта.-
Que! chien de metier!259

- Нет.

- Помилуйте, у вас такой запах в комнате, как в катакомбах в Неаполе.

- Я и сам чувствую, но не могу понять, это из угла... верно, мертвая крыса под полом - страшная вонь... - И он снял шинель Матьё, лежавшую на стуле. Оказалось, что запах идет из шинели.

- Что за чума у вас в шинели?- спросил его Фогт.

- Ничего нет.

- Ах, это, верно, я, - заметила, краснея, Дульцинея, - я ему положила на дорогу фунт лимбургского сыра в карман, un peu trop fait260.

- Поздравляю ваших соседей в дилижансе, - кричал Фогт, хохоча, как он один в свете умеет хохотать. - Ну, однако, пора. Марш!

И Хоецкий с Фогтом выпроводили агитатора в Турин. В Турине Матьё явился к министру внутренних дел с протестом. Тот его принял с досадой и смехом.

- Как же вы могли думать, чтоб французские жандармы ловили людей в Сардинском королевстве? - Вы нездоровы.

Матьё сослался на Фогта и Хоецкого.

- Ваши друзья, - сказал министр, - над вами пошутили.

Матьё написал Фогту; тот нагородил ему, не знаю какой вздор в ответ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкого, и через несколько недель написал мне письмо, в котором между прочим писал: "Вы один, гражданин, из этих господ не участвовали в коварном поступке против меня..."

К характеристическим странностям этого дела принадлежит, без сомнения, то, что восстание в Варе было очень (445) сильное, что народные массы действительно поднялись и были усмирены оружием с обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и телохранители его, при всем усердии и мычании, не знали, где к ним примкнуть? Никто не подозревает ни его, ни его товарищей, что они намеренно ходили пачкаться в грязи и глине и не хотели идти туда, где была опасность, - совсем нет. Это вовсе не в духе французов, о которых Дельфина Ге говорила, что

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru "они всего боятся, за исключением ружейных выстрелов", и еще больше не в духе de la democratie militante²⁶¹ и красной республики... Отчего же Матьё шел направо, когда восставшие крестьяне были налево?

Несколько дней спустя, как желтый лист, гонимый вихрем, стали падать на Ниццу несчастные жертвы подавленного восстания. Их было так много, что пизмонтское правительство, до поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками или цыганским табором возле города. Сколько бедствий и несчастий видели мы на этих кочевьях, – это та страшная, закулисная часть внутренних войн, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декаблей.

Тут были простые земледельцы, мрачно тосковавшие о доме, о своей земле и наивно говорившие: "Мы вовсе не возмутители и не *raitageux*²⁶²; мы хотели защищать порядок, как добрые граждане, *ce sont ces coquins*²⁶³, которые нас вызвали (то есть чиновники, мэры, жандармы), они изменили присяге и долгу, – а мы теперь должны умирать с голоду в чужом крае или идти под военный суд?.. Какая же тут справедливость?" – И действительно, *coup d'Etat* вроде второго декабря убивает больше, чем людей, – он убивает всякую нравственность, всякое понятие о добре и зле у целого населения, это такой урок разврата, который не может пройти даром. В числе их были и солдаты, *troupiers*²⁶⁴, которые не могли сами надвинуться как они, вопреки дисциплины и приказаний капитана, очутились не с той стороны, с которой полк и знамя. Их число, впрочем, не было велико. (446)

Тут были простые, небогатые буржуа, которые на меня не делают того омерзительного впечатления, как не простые-жалкие, ограниченные люди, они кой-как, с трудом, между обмериванием и обвешиванием усвоивая себе две-три мысли и полумысли об обязанностях, – восстали за них, когда увидели, что их святыня попрана – "это победа эгоизма, – говорили они, – да, да, эгоизма, а уж где эгоизм, тут порок; надобно, чтоб каждый исполнял долг свой без эгоизма".

Тут были, разумеется, и городские работники, этот искренний и настоящий элемент революции, стремящейся декретировать *la sociale* и в ту же меру воздать буржуа и *aristo*²⁶⁵, в какую они им воздают.

Наконец, тут были раненые – и страшно раненые. Я помню двоих крестьян средних лет, доползших, оставляя кровавый след, от границы до предместья, в котором жители подняли их полумертвыми. За ними гнался жандарм, видя, что граница недалеко, он выстрелил в одного и раздробил ему плечо... раненый продолжал бежать... жандарм выстрелил еще раз, раненый упал; тогда он поскакал за другим и нагнал его сначала пулей, а потом сам. Второй раненый сдался, жандарм второпях привязал его к лошади и вдруг хватился первого... тот дополз до перелеска и пустился бежать... догнать его верхом было трудно, особенно с другим раненым, оставить лошадь невозможно... Жандарм выстрелил *a bout portant*²⁶⁶ пленному в голову сверху вниз, тот упал замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, все кости. Когда он пришел в себя – никого не было... он добрался по знакомым тропинкам, протоптанным контрабандистами, до Вара и перешел его, исходя кровью; тут он нашел совершенно истощенного товарища и с ним дожид до первых домов *St.-Helene*. Там, как я сказал, их спасли жители. Первый раненый говорил, что после выстрела он зарылся в какие-то кусты, что он потом слышал голоса, что охотник-жандарм, верно, настиг других и поэтому удалился.

Каково усердие французской полиции!

За ним следовало усердие мэров, их помощников, прокуроров республики и префектов, оно показалось при подаче и счете голосов; все это истории чисто французские, (447) известные всему миру. Скажу только, что в отдаленных местах меры для достижения огромного большинства при вотировании были взяты с сельской простотой. По ту сторону Вара в первом местечке мэр и жандармский *brigadier* сидели возле урны и смотрели, какой бюллетень кто кладет, тут же говоря, что они свернут потом в бараний рог всякого бунтовщика. Казенные бюллетени были печатаны на особой бумаге, – ну, так и вышло, что во всем местечке нашлось, не знаю, пять или десять смельчаков беспардонных, вотировавших против плебисцита; остальные, и с ними вся Франция, вотировали империю *in spe*²⁶⁷.

¹ По указу е. и. в. Николая I... всем и каждому, кому ведать надлежит и т. д. и т. д. ...Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена св. Владимира... Обладатель золотого оружия с надписью за храбрость (нем.).

- 2 черт возьми!., ладно уж, ладно! (итал.).
- 3 Ваше высокоблагородие (нем.).
- 4 Так-то так (нем.).
- 5 Эй! малый, пусть запрягут гнедого (нем).
- 6 Стой! Стой! Вот проклятый паспорт (нем.).
- 7 По сему надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы... (нем.).
- 8 "Письма из Франции и Италии". Письмо I. (Прим. А. И. Герцена.).
- 9 его величество (нем.).
- 10 Король прусский, увидя его, Сказал: это в самом деле удивительно (франц.).
- 11 северный ветер (от итал. tramontane).
- 12 Теперь оно есть. (Прим. А. И. Герцена.).
- 13 О - прошу прощения - у меня была жажда (искаж. франц.). - Ничего (франц.).
- 14 возмутитель общественного порядка (франц.).
- 15 рожденная Аргу; игра слов: пеё - урожденная, пег - нос (франц.).
- 16 простите мне это слово (франц.).
- 17 Суждение это я слышал потом раз десять. (Прим. А. И. Герцена.).
- 18 виктор Панин. (Прим. А. И. Герцена.).
- 19 "да здравствует республика!" (франц.).
- 20 носильщике (от итал. facchino).
- 21 ударами ножа (от итал. coltellata).
- 22 и за духовных лиц - республиканцев! (франц.).
- 23 "за будущую республику в России!" (франц).
- 24 "за всемирную республику!" (франц.).
- 25 настоятель (франц.).
- 26 Помнишь ли ты?.. но здесь я умолкаю, Здесь кончаются все благородные воспоминания (франц.).
- 27 Писано в конце 1853 года. (Прим. А. И. Герцена.).
- 28 лунатичка (итал.).
- 29 снятый боже (итал.).
- 30 иностранок (итал.).
- 31 "да здравствуют иностранки" (итал.).
- 32 Мой сон исчез - и новым не сменился! (англ.).
- 33 окраина (франц.).
- 34 "Иностранные бунтовщики" (франц.).

35 в нижнем этаже (франц.).

36 Но это подло, этому нет названия! (франц.).

37 Сударь, вы говорите с должностным лицом! (франц.).

38 протоколе (франц.).

39 Ну, что вы! (франц.).

40 тигра-обезьяну (франц.).

41 братство народов (франц.).

42 непринужденностью (франц.).

43 экспромт (лат.).

44 "Прошу слова" (франц.).

45 истрепанного славою (франц.).

46 духовидца (от франц. Visionnaire).

47 Писано в 1856 г. (Прим. А. И. Герцена).

48 завсегдатаи (франц.).

49 картину (от франц. Tableau).

50 по очереди (франц.).

51 с течением времени (франц.).

52 кутила (франц.).

53 сын народа (итал.).

54 на улице Рипетта.

55 отец семейства и . римский гражданин (лат.).

56 с изъясном (франц.).

57 рюмками (от франц. petit verre).

58 Граждане, Гора заседает непрерывно (франц.).

59 предместье (от франц banlieue).

60 собственников (от франц propriétaire).

61 требований (от франц sommation).

62 "К оружию! К, оружию!" (франц.).

63 Как справедливы были мои опасения, доказал полицейский обыск, сделанный дня три после моего отъезда в доме моей матери, в ville d'Avray. У нее захватили все бумаги, даже переписку ее горничной с моим поваром. Рассказ о 13 июне я не счел своевременным печатать тогда. (Прим. А. И. Герцена.).

64 Сударь, вы ничего не имеете против? (франц.).

65 "А! это прекрасная страна" (франц.).

66 Вы - военный? - Да, сударь - Вы были в Алжире? - да сударь (франц.).

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
67 любезный (франц.).

68 "потрясатели основ" (нем.).

69 изгнанники (итал.).

70 "Эмигранты в их собственном изображении" (франц.).

71 не в один день был выстроен Рим (нем.).

72 осторожным шагом Густав Струве входит (нем.).

73 добровольцы (от нем. Freischarler.).

74 нарукавные повязки (от франц. btassard).

75 временно (лат.).

76 мировой душе (нем.).

77 парящее (нем.).

78 Гражданин Герцен не имеет никакого, решительно никакого органа почтительности (нем.).

79 пробные номера (от англ. specimen).

80 Садитесь, гражданин! (от нем. burger, Platz).

81 "Былое и думы", том II. (Прим. А. И. Герцена).

82 Если все согласны, я не возражаю (лат).

83 князя (от итал. principe).

84 Да здравствует Италия! Да здравствует Маццини! (итал.).

85 Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:

"Они сошли с оружием в руках, но они не воевал с нами: они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого – у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание? "Мы пришли умереть за наш край!"

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!

Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами... Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: "Куда идешь ты, прекрасный вождь?" Он посмотрел на меня и сказал: "Сестра моя, иду умирать за родину". И сильно заняло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: "Бог тебе в помощь!"

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!" И я знал bel capitano (прекрасного вождя) и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины... (итал.) (Прим. А. И. Герцена.).

86 в будущем (лат.).

87 разжиревшего класса (итал.).

88 крестьянину (от итал. contadino).

89 Пою оружие и мужа! (лат.).

90 наемными убийцами (итал).

91 Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде! (Прим. А. И. Герцена.).

92 божественная комедия (итал.).

93 испанского партизана (от испан. guerrillas).

94 Братья (итал.).

95 он не умел придавать себе цену (франц.).

96 заочно (франц.).

97 отец своих подданных (нем.).

98 благоденствию (нем.).

99 парадную комнату (нем.).

100 они преодолели точку зрения национальности (нем.).

101 весьма видных в своей области (нем.).

102 одноплеменном! (нем.).

103 "Генерал-гражданин" (нем.).

104 горничными (от нем. Stubenmadchen).

105 широкая натура! (нем.).

106 такого настоящего парижского сорви-голову (нем. и франц.).

107 Ребята! (нем.).

108 "С того берега" (нем.).

109 между тем (лат.).

110 гражданину и брату (от нем. Burger и Bruder).

111 с презрением (нем.).

112 имущих (нем.).

113 неуклюжестью (нем.).

114 резвящегося (от франц. jovial).

115 склад (франц.).

116 Все это очень переменялось после Крымской войны (1866). (Прим. А. И. Герцена.).

117 Французская свинья! Французская собака! (англ.).

118 крайнее средство (лат.).

119 нищий (англ.).

120 эмиграция (от франц. refuge).

121 "Теймс" как-то, года два тому назад, считал, что средним числом в каждой части Лондона (их десять) ежегодно бывает до двухсот процессов о побоях женщин и детей. А сколько побоев проходит без процессов? (Прим. А. И. Герцена.).

122 Кровавая собака! (англ.).

- 123 и компании (франц.).
- 124 немцев (от итал. Tedeshi).
- 125 "Князь Радецкий" (нем.).
- 126 заочно (лат.).
- 127 ссылку (от франц. Deportation).
- 128 императорско-королевских (нем.).
- 129 Ну, а (франц.).
- 130 О, скоты, скоты! (итал.).
- 131 выставления напоказ (франц.).
- 132 постановки (франц.).
- 133 волей-неволей (лат).
- 134 прав человека (франц).
- 135 на деле (лат.).
- 136 мерой по охране общественного порядка (франц).
- 137 совершенно благодушно (нем).
- 138 не чувствуешь себя в безопасности на улице (франц).
- 139 это совершенно по-русски! (франц).
- 140 Вот я и. оправдал знаменитое - "я слышу молчание!" московского полицмейстера. (Прим. А. И. Герцена).
- 141 театральные эффекты (франц.).
- 142 Плач (итал.).
- 143 равнодушие (нем.).
- 144 вообще "наш" скептицизм не был известен в прошлом веке, один Дидро и Англия делают исключение. В Англии скептицизм был с давних времен дома, и Байрон естественно идет за Шекспиром, Гоббсом и Юмом. (Прим. А. И. Герцена.).
- 145 римский народ. Я - Дав, не Эдип! (лат.).
- 146 с досады (франц).
- 147 с точки зрения вечности (лат).
- 148 она спасена (нем).
- 149 "Тьма" (англ).
- 150 Ну, и ладно (итал).
- 151 Здесь: с первого взгляда (франц.).
- 152 народное благо (лат); .каждый за себя (франц).
- 153 Старая лавка (англ).
- 154 Обычного права (англ.).

- Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
- 155 хвастовство (франц.).
- 156 благопристойность (нем.).
- 157 правдою и неправдою (лат.).
- 158 великое восстановление (лат.).
- 159 "Не весело... но спокойно!" (итал.).
- 160 Русского князя... "господин граф" (франц.).
- 161 снятие запрещения (франц.).
- 162 в лист (лат.).
- 163 свидетельство об освобождении недвижимости от закладных (франц.).
- 164 Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб! (итал.).
- 165 Подпись эта, endossement, делается для пересылки, чтоб не Посылать анонимный билет, по которому всякий может получить Деньги. (Прим. А. И. Герцена.).
- 166 бесцеремонно (франц.).
- 167 Это не П. Д. Киселев, бывший впоследствии в Париже, очень порядочный человек и известный министр государственных иму-ществ, а другой, переведенный в Рим. (Прим. А. И. Герцена.).
- 168 в конечном счете (франц.).
- 169 Перевожу слово в слово. (Прим. А. И. Герцена.).
- 170 обычаев (франц.).
- 171 любовную записку (франц.).
- 172 сторож (франц.).
- 173 Здесь, благодушным (от франц. jовwл).
- 174 рублей серебром (франц.).
- 175 Это кругленькая сумма (франц.).
- 176 Прежде всего (франц.).
- 177 субсидии (франц.).
- 178 Хороший гражданин (франц.).
- 179 Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете. (Прим А. И. Герцена).
- 180 двойник (лат.).
- 181 мошенничество (франц.).
- 182 под явным надзором (франц.).
- 183 хунты, союза (от испан. Junta).
- 184 законом об иностранцах (англ.).
- 185 исповедания веры (франц.).
- 186 непрерывно заседающий (франц.).

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
187 ужасающая пустота (лат.).

188 на свой риск (нем.).

189 "Господин граф"... "Господин консул" (франц.).

190 Здесь: по губам (от франц oral).

191 приглушенный (франц.).

192 время от времени (нем.).

193 мечтательства (нем.).

194 в конечном счете (франц.).

195 смышлен (франц.).

196 "Дон Жуан"... "Свадьба Фигаро" (итал.).

197 "Здесь человек счастлив" (итал.).

198 в церкви Павла (нем.).

199 охвостье парламента (нем.).

200 моллюскам (итал.).

201 богом (итал.).

202 страстным влечением (франц.).

203 "уроженцем Шателя, близ Мора" (франц.).

204 общественной безопасности (итал.).

205 злопамятство (франц.).

206 "Сим разрешается г. А. Г. возвратиться в Ниццу и оставаться там, сколько времени он найдет нужным. За министра С. Мартино. 12 июля 1851" (итал.).

207 попросту (лат.).

208 "дорогой согражданин" (нем.).

209 Новому гражданину ура!.. Да здравствует новый гражданин!.. (нем.).

210 Не могу не прибавить, что именно этот лист мне пришлось поправлять в Фрибургс и в том же Zoringer Hofe. И хозяин все тот же, с видом действительного хозяина, и столовая, где я сидел с Сазоновым в 1851 году, - та же, и комната, в которой через год я писал свое завещание, делая исполнителем его Карла Фогта, и этот лист, напомнивший столько подробностей... Пятнадцать лет! Невольно, безотчетно берет страх... 14 октября 1866. (Прим. А. И. Герцена.)

211 Здесь: принуждение (франц.).

212 "Сколько с меня всего?" (франц.).

213 спорщик (от лат. controversia).

214 "Разрушу и воздвигну" (лат).

215 великая армия демократии! (франц.).

216 ужасающей песни (лат).

217 в новом сочинении Стюарта Милля "On Liberty" ("о свободе" (англ)) он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: "The dear

Былое и думы (часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
slumber of a decided opinion" глубокий сон бесспорного мнения (англ)). (Прим. А. И. Герцена.).

218 водяные часы (греч.).

219 "Общественный договор" (франц.).

220 "Histoire de la Revolution francaise" ("История французской революции" (франц)). (Прим. А. И. Герцена.).

221 Ботаническому саду (франц.).

222 негласным пайщиком (франц.).

223 Плата, богато вознаграждающая (нем.).

224 я тогда печатал "Vom andern Ufer". (Прим. А. И. Герцена)

225 Мой ответ на речь Донозо Кортеса, отпечатанный тысяч в 50 экземпляров, вышел весь, и, когда я попросил через два-три дня себе несколько экземпляров, редакция принуждена была скупить их по книжным лавкам. (Прим. А. И. Герцена.)

226 "Да здравствует император!" (франц).

227 крутом нраве (франц)

228 После писанного я виделся с ним в Брюсселе. (Прим. А И Герцена).

229 бульона (франц.).

230 главы семьи (лат.).

231 "Каждый дюйм" (англ.).

232 я долею изменил мое мнение об этом сочинении Прудона (1866). (Прим. А. И Герцена.)

233 в самую сущность (лат.).

234 Сам Прудон сказал: "Rien ne ressemble plus a la premeditation, que la logique des faits" (Ничто не похоже так на преднамеренность, как логика фактов (франц.)). (Прим. А. И. Герцена.).

235 Здесь: досрочно освобожденные (англ).

236 прекрасную Францию (франц.).

237 византийских (от франц byzantin).

238 Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие! (лат).

239 вне закона (франц.).

240 собственности (от франц propriete).

241 "Былое и думы", т. III. "По поводу одной драмы". (Прим. А. И Герцена.).

242 непромокаемы (англ.).

243 право меча (лат.)

244 неизменяемое (от франц irreductible).

245 или-или (нем).

246 напряжение (лат).

247 читая корректурный лист, мне попала французская газета, в которой

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru рассказан чрезвычайно характеристический случай, Возле Парижа какой-то студент завел связь с девушкой, связь эта открылась. Отец ее отправился к студенту и умолял его со слезами, на коленях, восстановить честь дочери и жениться на ней;

студент с дерзостью отказался. Коленопреклоненный отец дал ему пощечину, студент его вызвал, они стрелялись; во время дуэли старика хватил паралич, изуродовавший его. Студент сконфузился и "решился жениться", а невеста огорчилась и решила выйти замуж. Газета прибавляет, что такая счастливая развязка, верно, будет много способствовать к выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший дом, неужели Китай, Индия, над юродствами и уродствами которых мы столько издеваемся, представляют что-нибудь безобразнее, глупее этой истории? Я уже не говорю-безнравственнее. Парижский роман в сто раз преступнее всех поджариваемых вдов и закрываемых весталок. Там вера, снимающая всякую ответственность, а здесь одни условные призрачные понятия о внешней чести, о внешней репутации... Не явно ли из дела, что за человек студент? За что же судьбу девушки сковали с ним а регрè-tuite (навек (франц.))? За что же ее сгубили для спасения имени?! О, Бедлам! (1866), (Прим. А, И. Герцена.)

248 неоформленный брак (от лат. concubinatus).

249 жалобных песен (франц.).

250 средством (франц.).

251 лишнее (лат.).

252 сезонный билет (англ.).

253 великое неизвестное (лат.).

254 Спи, спи, дитя мое, до пятнадцати лет, в пятнадцать лет придется проснуться, в пятнадцать лет придется выйти замуж (франц.).

255 да здравствует смерть (франц.).

256 недовольство разгорается (франц.).

257 как и следует (франц.).

258 вторжение на чужую территорию (франц.).

259 что за собачье ремесло! (франц.).

260 немного перезрелого (франц.).

261 воинствующей демократии (франц.).

262 сторонники раздела земель (франц.).

263 а эти негодяи (франц.).

264 рядовые (франц.).

265 социализм аристократу (франц.).

266 в упор (франц.).

267 в будущем (лат.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://herzenalexander.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

Былое и думы (Часть 5). Александр Иванович Герцен herzenalexander.ru
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!